

Борис Казанов

**ОСЕНЬ
НА
ШАНТАРСКИХ
ОСТРОВАХ**



35 коп







Борис Казанов

ОСЕНЬ НА ШАНТАРСКИХ ОСТРОВАХ

Рассказы



**Советский писатель
Москва 1972**

В основу книги молодого писателя Бориса Казанова легли события из жизни дальневосточных промысловиков-охотников и моряков. В книге, представляющей собой единый цикл рассказов, есть сцены весенне-летнего отстрела тюленей во льдах Охотского моря и осеннего промысла на островных лежбищах, описания плаваний, штормов, красот природы.

Но главное в рассказах Б. Казанова — поиск нравственной красоты в обыкновенных, занятых каждодневным трудом людях, огромная заинтересованность автора в их судьбах. И еще — любовь ко всему живому на земле, неприязнь к тем, кто «смотрит на море с одной стороны: удобно оно или неудобно для промысла». Б. Казанов всем содержанием, всем пафосом своего творчества утверждает благородство трудового человека.

Художник А. А. БОРИСОВ



1

-Винтовка лежала вот так, — рассказывал Счастливчик. — А шептало мы у нее подтираем, чтоб курок был легкий при стрельбе... Видно, она зацепилась курком за тросы, когда научник¹ потянул ее... Пуля вошла вот сюда, он даже не шевельнулся. Жара в тот день стояла страшная, мы тело льдом обложили. Сапоги на нем были казенные, боцман их снял, потому что боцман за каждый сапог отвечает, а научнику они теперь были, сам понимаешь, ни к чему. И тут я посмотрел на него: лежит он — может, пер-

¹ Ученый (разг.).

вый ученый в мире! — лежит без сапог, и море от этого не перевернулось... Тоска меня взяла: сиганул я с бота прямо в воду и поплыл к берегу, а берега от пены не видать — такой был накат... — Счастливчик, не выпуская винтовки, достал спичечный коробок и прикурил. — Башку проломил, а выбрался, — продолжал он. — Наглотался у берега воды с песком, всю дорогу рвало, пока дополз к поселку... Сперва прыгал, чтоб разбиться, а потом полз, чтоб выжить, — такой я человек! — Он засмеялся и посмотрел на меня.

— Чего ты скалишься? — не выдержал я. — Человек убился, а ты скалишься...

— Когда ты убьешься, мне еще веселей будет, — ответил Счастливчик.

Я инстинктивно сунул руку в карман ватных штанов и потрогал свой талисманчик. Это был маленький слоненок, выточенный из моржового клыка. Мне дал его один чукча в Эгвэкините в обмен на банку китайской тушенки. Талисманчик был при мне, и, значит, я не мог утонуть, и я сразу успокоился и снова был готов слушать болтовню Счастливчика.

— Вот такой был человек! — говорил он. — Не за деньги работал. Только погиб глупо, не повезло ему...

— Зато тебе везет, Счастливчик, — сказал Бульбутенко, старшина бота. — Уж так везет, что дальше некуда... — Бульбутенко стоял на корме и, зажав румпальник между колен, смотрел на часы.

— Никто нашей смерти не заберет: ни моей, ни твоей, ни его, — вяло ответил Счастливчик. Он сразу раскис от слов Бульбутенко, и было видно, что он хотел поскорей закончить этот разговор. — Вот пошли, а может, и не вернемся назад...

Бульбутенко смотрел на часы, а Счастливчик — себе

под ноги, а я глянул на море, но не увидел там ни черта: один только лед плавал, точно куски застывшего жира в борще... А на горизонте был город — будто из светящихся кристаллов, я такой красивый город сроду не видел, но я в него не поверил, потому что знал: это и не город вовсе, а рефракция, преломление солнечных лучей, то есть обман зрения и так дальше. Но, подумав о городе, я вспомнил Владивосток и свой домик в Косом переулке, огородик, ребятишек и Шурку, жинку мою. Как она огород мотыгой долбает, запарилась — аж платье к спине прилипло, и какая она сейчас загорелая, потная, веселая от работы. А на меже, среди зеленых кустов окученного картофеля, я видел розовые мордашки ребятишек, а на веревке под грушами просыхает выстиранное белье, распространяя приятный холодок... Эта картинка до того понравилась мне, что я чуть не прослезился и с трудом пересилил себя: ребятишки все-таки были не мои, а от Витьки, ее бывшего мужа, и хоть я не терял дома время даром, своих детей у меня не было — так было обидно, что она не хочет рожать от меня... Я эту Шурку и Витькиных ребятишек очень крепко любил, я им трехпроцентных облигаций на четыреста рублей дал и получку на них перевел, только самую малость себе оставил...

— Бросай якорь,— приказал мне Бульбутенко.— Пора на капитанский час¹ выходить...

Мы пристали к одинокой маленькой льдинке, и старшина бота выключил двигатель. Раньше я боялся таких маленьких льдинок, они казались мне ненадежными. Но потом я понял, что величина льдины не имеет значения, главное — чтоб у нее не было подсова. Подсов — подвод-

¹ Время радиосвязи между дрейфующей шхуной и ботами, находящимися на промысле.

ная часть льдины. Летом она отрывается и висит самостоятельно, подпирает верхнюю льдину, но может от пуштякового толчка вылететь наверх, словно снаряд из пушки... Если нарвешься на нее, то будет конец и тебе и боту. А такая вот маленькая — она целого мамонта выдержит...

Бульбутенко расположился на капоте. Он достал рацию, собрал антенну, подсоединил в наушники, потом подключил питание и стал ожидать вызова с судна. У нас была телефонная радиостанция «Недра-п», величиной с транзистор. Кроме нее, на боте еще был установлен «Шлюп» — аварийная радиостанция большого диапазона. При помощи «Шлюпа» можно было выйти на 500 килogerц — на этой волне прослушиваются сигналы бедствия, и нас могли засечь спасательные или любые другие суда, а также побережные сахалинские радиостанции. «Шлюпом» мы еще ни разу не пользовались, поскольку в аварии не попадали...

Счастливчик выпрыгнул на льдину с винтовкой, а я сиганул следом.

Счастливчик ходил на боте мотористом, но рулевым он не был, как другие мотористы на ботах, только смотрел за двигуном да еще стрелял из винтовки. Вернее, стреляли они вдвоем с Бульбутенко. А я зверя в бинокль выслеживал. Они редко давали мне стрелять: зрение у меня было — будь здоров, но я никак не мог освоить оптическое приспособление для стрельбы и часто мазал. А еще они не доверяли мне потому, что я пришел сюда с торгового судна. «Торгашей» зверобои считали трусами и дармоедами.

— «Воямполка», я — «Единица». Нахожусь на норд-весте. Норд-весте. Зверя нет. Зверя нет. Как поняли меня? Прием! — кричал Бульбутенко.

Счастливчик расстелил на снегу ватник, стащил с себя свитер и сел, повернувшись голой спиной к солнцу. Я тоже

сбросил ватник, но снять рубаху постеснялся: чирьи у меня...

Тут Счастливчик вскинул винтовку и выстрелил в чайку — их кружило над нами видимо-невидимо. Птица упала возле льдины, тело у нее содрогалось, а крылья неподвижно распластались на воде. Счастливчик подтянул ее прикладом. Это был помор — серая длинная чайка со здоровенным клювом.

— Зачем ты стрельнул ее? — спросил я.

— Чучело сделаю... — Счастливчик бросил птицу в бот.

— Чайку нельзя стрелять, — сказал я. — Душа у нее человеческая.

— Воронья у нее душа, — ответил Счастливчик. — Разве не видел, как она туши жрет? Не успеешь зверя разделать, как она ему уже глаза выклевала...

Я невольно залюбовался им — такой он был сильный и ладный с виду. Он был, наверное, нерусский: черный, и глаза косые, но тело у него было белое, твердое, а в глазах у него лед плавал...

«От такого б Шурка с радостью рожала! — подумал я. — Она у меня хорошего мужика за версту чувствует...»

Счастливчик, видно, рассердился, что я попрекнул его за убитую чайку, и сейчас обдумывал, как мне отомстить. Я видел это по его лицу. Я уже присмотрелся к нему за время работы, но не всегда можно было угадать, что он выкинет. На этот раз он ничего нового не придумал.

— Вы, торгоши, и моря настоящего не видели, — начал он. — А без лоцмана даже развернуться не сумеете... И грузят ваши лайнеры без вас и разгружают, а рулевые у вас перед компасом на стульчике сидят, «трудовой мозоль» зарабатывают... — Он закурил и бросил в меня спичкой. — Ты вот, старикашка, зачем к нам пожаловал?

— Мне деньги нужны, чтоб на Черное море попасть, чирьи вывести,— ответил я.

— Деньги! Деньги! — закипятился Счастливчик. — Ты б еще жинку с собой взял, здесь бы она больше твоего заработала...

Он не успел договорить, потому что я изо всей силы пнул его сапогом. Он охнул и повалился на лед, он даже в лице изменился — так ему стало не по себе... Это только с виду я такой худой и неразвитый, а вообще я верткий, как вьюн, и в драке поднаторел — Шурка знает, как я ее ухажеров отваживал. Меня обычно недооценивают, а мне это только на руку.

— Ладно... — сказал Счастливчик, вставая. Он взял винтовку, передернул затвором и прицелился в меня.

Я снова потрогал талисманчик, хотя в общем был спокоен: знал, что не стрельнет в меня, видели мы таких!

Бульбутенко аккуратно, палочку к палочке, сложил в мешочек антенну, захлопнул рацию и спрятал ее под капот, а Счастливчик все целился в меня, а я лежал себе на льдине и даже не смотрел в его сторону.

— Поедим? — предложил Бульбутенко. — Все равно ничего не возьмем сегодня.

Счастливчик, услышав про еду, опустил винтовку и, ругаясь, направился к боту. Я двинулся следом за ним.

Бульбутенко достал термос и полбуханки хлеба.

— Давай тушенку,— потребовал у него Счастливчик,— не жадничай.

Бульбутенко, не слушая его, вытащил из чехла нож и стал аккуратно резать хлеб. Хлеб был черствый, аж скрипел под ножом. Бульбутенко отвинтил крышку термоса, вытащил зубами пробку и налил в крышку кипятку. Кусок хлеба он густо посыпал солью. Он пил чай, громко прихлебывая, а мы сидели и смотрели на него.

Морда у Бульбутенко была красная, кожа просвечивала сквозь редкую выгоревшую бороду и лоснилась от крема «Идеал», а зубы у него были один под один — крупные и свежие, как у подростка, а нос облупился, и Бульбутенко залепил его бумажкой. Он напился чаю, а недоеденный кусочек хлеба положил обратно в ящик на корме, где у нас хранилось продовольствие.

— Ты дождешься когда-нибудь, — пригрозил ему Счастливчик. — У нас уже был один такой, так с него быстро гонор сбили...

— Это как понимать?

— Кинули его за борт, вот как...

— Утопился? — поинтересовался Бульбутенко.

— Подобрало одно судно. Больше он уже на зверюгах не работает... Не слышал про такого?

— Нет, — ответил Бульбутенко, — не имею музыкального слуха.

— Чего ты нас голодом моришь? — не отставал Счастливчик.

— А если в ЧП попадем? Что тогда жрать будешь?

— Я так похудел, что сам себя не чувствую, — пожаловался Счастливчик.

— И правильно, — поддержал его Бульбутенко. — А на голодный желудок стреляется лучше — глаз чистый, понял?

— Дождешься ты...

— Лучше б за ботом глядел: насос совсем воду не качает, — упрекнул его старшина.

Они так ни до чего и не договорились. Счастливчик принялся разбирать насос — он знал свое дело, на ботах не было моториста лучше его, а я взял у Бульбутенко термос и кусок хлеба.

Потом мы запустили двигатель и поехали дальше.

Тюлень вынырнул шагах в сорока от лодки и поплыл, толкая носом воду. Я сбавил обороты, и тут Счастливчик саданул в него из винтовки — сразу видно было, что попал: тюлень уронил голову, спина у него изогнулась горбом...

Я дал полный газ, а Счастливчик отложил винтовку и стал на носу с абгалтером — острым стальным прутом с ручкой, загнутой в виде кольца. Но тут тюлень стал тонуть, и мы не успели подобрать его. Он тонул под нами — весь голубой в воде, похожий на диковинную огромную рыбину, а кровь из него шла, словно дым из подбитого самолета, и вокруг шлюпки ширилась красная полынья и дымилась на солнце.

Если ты тюленя подбил на выдохе, когда у него легкие пустые, то он обязательно потонет — хоть что хочешь делай с ним, а мы их сегодня — странное дело! — били всех на выходе, и они тонули у нас один за другим. Не везло нам сегодня, это точно.

Счастливчик швырнул абгалтер и закурил, а Бульбутенко почему-то стал у борта, держа наготове гарпун. Я начал выводить бот на курс, как внезапно второй тюлень вынырнул рядом с бортом. Бульбутенко кинул в него гарпун. Тюлень задержался, и Бульбутенко, перегнувшись через борт, поймал гарпун и воткнул его в тюленя до половины. Гарпун, наверное, до сердца достал, потому что тюлень сразу затих, глаза у него засветились и стали зелеными. Мы взяли его на буксир, а потом выволокли на льдину.

Зверь занимал почти всю льдину. Это был морской заяц килограммов на сто пятьдесят весом, отлинявший, с белыми жесткими усами и гладким, лоснящимся мехом. Бульбутенко взял его за лапы и перевернул на спину. Он выта-

щил из деревянного чехла широкий зверобойный нож, отточенный до голубизны, и легко развалил тюленя от нижней губы до хвоста. Тюлень зашевелился, кровь хлынула из него на лед, а я воткнул ему нож между ребер, потом сунул туда руку и вырвал сердце. Оно билось в моей руке, и я бросил его в ведро со льдом. Бульбутенко уже снял шкуру с черными полосками оставшегося мяса, а я поволок раушку — то есть ободранную, скользкую, дымящуюся тушу — и столкнул ее в воду. Раушка плавала возле льдины, глаза у нее светились, и чайки набросились на нее...

Потом я долго мыл руки в морской воде и все смотрел, нет ли на них какой царапины, потому что я боялся чинги — случается такая болезнь суставов, когда трупный яд зверя попадает тебе в кровь. Боль, говорят, дикая, а пальцы после чинги немеют и не двигаются, и на них образуются уродливые наросты. А еще я знал, что чинга пока неизлечима. У многих зверобоев пальцы были повреждены, особенно у молодых. У Счастливого два пальца не двигались — по одному на каждой руке, у Бульбутенко же все пальцы были как пальцы, потому что Бульбутенко был настоящий зверобой, а Счастливчик только воображал себя таким.

— Когда я работал на китобойце, так мы раз сейвала загарпунили, — снова заговорил Счастливчик, который все это время сидел на льдине, наблюдая за нашей работой. — Самку. Кормящая была — когда волокли на лине, у нее молоко выливалось из груди... Так самец рядом с ней шел, спина к спине, а потом вынырнул перед носом судна, загордил дорогу: мол, стреляй заодно и меня... А я не могу стрелять, просто не могу, и все. Тут Колька Типсин подбежал, ученик: развернул пушку да как выстрелит в него гранатой ТТ-7! Это новой системы граната, их теперь дают вместо остроконечных...

— А если б вначале самца подбили,— сказал Бульбутенко,— самку б только и видели. Инстинкт у нее — сохранение рода, поэтому убегает... Вот эту случайно сейчас...

— Они, бабы, все такие,— согласился Счастливчик. Он пнул шкуру ногой.— Вот будет шуба для какой-нибудь заграничной сэрши...

— А нам денежки, верно, старпом? — засмеялся я.

— Какие там денежки,— поморщился Бульбутенко.— Нам еще до плана тянуться... что до него...— Бульбутенко показал ножом на солнце.

Бульбутенко вытер нож о мех и сунул его в чехол, а я сполоснул шкуру в воде — она была очень тяжелая — и бросил ее в бот, а потом расстелил шкуру на дне трюма, салом кверху, и снова помыл руки. Бульбутенко обтер руки сухой ветошью. Он никогда не мыл их на промысле, даже когда брался за еду.

— Ты, Счастливчик, брось это! — вдруг сказал он.

— Что бросить? — не понял Счастливчик.

— Валять ваньку,— разъяснил Бульбутенко.— Ты что думал: выстрелил, и на этом дело с концом, так? А зверя за тебя будет теща разделывать?

— Тут тебе одному делать было нечего,— возразил Счастливчик.

— Я не про этого говорю. Я тебе вообще говорю, понял?

— А если меня тошнит от этого...

— Так на зверобоях не делается. Вот новичок работает, старается, учился б у него...

— Я их, знаешь, где видел, твои зверобои? — закипятился Счастливчик.— Я хоть завтра уйду отсюда!

— Куда ты завтра уйдешь? — усмехнулся Бульбутенко.— Ты б лучше спасибо сказал, что на бот взял. Я твою биографию знаю, только я тебя взял и все, так что не ва-

лй ваньку, понял? — Бульбутенко вырвал изо льда якорь и пошел к боту, а Счастливчик стоял на льдине с винтовой в руке, чаек над ним кружило видимо-невидимо, только ему было не до них.

Посмотреть на Счастливчика, так вроде его сейчас чем-то кровно обидели — такой у него был потерянный вид. А ведь старшина ему чистую правду выложил. За эти три с половиной месяца, которые мы вместе работали, Счастливчик у меня в печенках сидел. Я его поведение никак не мог объяснить: или у него характер такой дурной, или он вообще малость стукнутый. Удивительно было другое — то, что Бульбутенко возится с ним. Ведь попасть на бот удавалось не каждому, только крикни на судне — от желающих не отобьешься. И было отчего: одно дело, когда ты вкалываешь у вонючей мездрильной машины, где каждый над тобой начальник, и совсем другое, когда целый день в море, на свежем воздухе... Бульбутенко, можно сказать, впервые выговаривал Счастливчику, и я был доволен, что он, наконец, добрался до него. Уж Бульбутенко он не посмеет послушаться: как ни верти, наш старшина на судне — старпом, второй человек после капитана.

И я не ошибся: слова Бульбутенко на Счастливчика подействовали. Притом так скоро и таким неожиданным образом, что я бы никогда в это не поверил, если б все не происходило у меня на глазах.

Только что Счастливчик с унылым видом стоял на льдине, как вдруг бросился в бот сломя голову, схватил Бульбутенко за плечи.

— Старпом, ты ко мне как относишься? — спросил он в сильном волнении.

— Нормально отношусь, — сказал Бульбутенко, отворачиваясь.

— Спасибо тебе! — Счастливчик с чувством пожал ему

руку.— Ведь если б ты меня не взял на бот, я сам не знаю, что мог бы себе сделать из гордости... Ты теперь, можно сказать, как научник для меня! Я знаю, что у тебя кровь порченная, так бери мою, хоть всю бери...— Счастливчик говорил как помешанный.

— Будет тебе! — Бульбутенко освободился от него.— Я почему так говорил,— примирительно сказал он.— Ведь от меня работу требуют в первую очередь, а я должен с остальных — по старшинству. Работай, как надо,— слова тебе лишнего не скажу.

— Брезгуешь насчет крови... или боишься? — приглушенно спросил Счастливчик.

— Да будет тебе!

— Сволочь ты! — крикнул Счастливчик.

Бульбутенко только рукой махнул.

3

Мы прошли еще дальше на север, а потом отклонились к востоку — Бульбутенко брал поправку на дрейф, поскольку ветер был восточный, и тут мы увидели много раушек на льдинах, а чайки над ними летали, здоровенные жирные чайки — смотреть на них было противно...

— Наши ребята поработали,— сказал Бульбутенко.— Держи как есть,— приказал он мне,— тут остров недалеко. На худой случай, медведку подстрелим...

Около часа мы пробивались на восток в плотном материковом льду, а потом открылся низкий пустынный берег: осохшие валуны, бревна, груды белых ракушек... И вот здесь, неподалеку от острова, мы внезапно наткнулись на громадное стадо тюленей. Зверь был усталый после перехода, спал мертвым сном, и ни один не поднял головы, когда раздались первые выстрелы...

Началось такое, что не описать.

Счастливец только и делал, что хватал обоймы, вдавливал их в магазинную коробку да нажимал на курок. Это была полуавтоматическая трехлинейка девятого калибра, но стрелял из нее Счастливец здорово — как из боевого автомата, бил почти в упор и дико ругался, если я не успевал вовремя сунуть ему в зубы папиросу, а вокруг нас стояло такое эхо от выстрелов, что с ума можно сойти... Когда он перестал стрелять, мы с Бульбутенко выпрыгнули на льдину и добились подранков, а потом принялись за дело: старшина снимал шкуру — ловко, за три взмаха ножа, я тащил ее в бот, а Счастливец сидел в боте и курил — лицо у него было нехорошее. Он изредка поглядывал в нашу сторону, я чувствовал на себе его взгляд, и это мешало мне работать.

— Все патроны вышли, — Счастливец выбросил из магазина пустую гильзу. — Даже в торгаша нечем стрелять...

— Тебе б только стрельнуть, — не вытерпел я. — Скажи: что я тебе сделал плохого?

— Меня удивляет, — сказал он, — что некоторые старики из торгашей приходят сюда, как в мясную лавку... Ты хоть знаешь, какого ты зверя убивал?

— Разве я его убивал? — возразил я.

— Ты островного тюленя убивал! — закричал Счастливец. — А его научник впервые открыл, про это теперь весь мир знает... Выходит, что он из-за твоих поганных денег свою молодую жизнь погубил?

— Что ты плетешь? — вмешался Бульбутенко. — Совсем это не островной, ларга¹ это...

¹ Вид дальневосточного тюленя,

Счастливичик ничего не сказал и отвернулся.

— Вот ты на него набросился,— продолжал Бульбукенко.— Так у него хоть деньги на уме, а у тебя что? Что у тебя на уме?

Счастливичик молчал.

— А с винтовкой нечего дурить,— сказал старшина.— С сегодняшнего числа я тебе запрещаю стрелять. Будешь следить за двигуном, а оружие отдай...

— Ясное дело,— усмехнулся Счастливичик.— План взяли, теперь я тебе не нужен...

Бот был просто завален шкурами. Я даже не знаю, сколько мы взяли,— никому не пришло в голову пересчитать. Как я понимал, на этом промысле заранее ничего не угадаешь. Тут как повезет: время отпускается большое, а план берется за несколько удачных дней. Во всяком случае, мы теперь были застрахованы от всяких неожиданностей до конца промысла. Даже если остальные боты не доберут плана и судно останется без прогрессивки, мне и этих денег хватало на кооперативную квартиру, и еще оставалось... Где ты еще заработаешь столько? За свою жизнь я перебрал много работ, но чтоб столько можно было отхватить сразу — такого у меня еще не было... Но радости я тоже не испытывал: было такое чувство, будто я уворовал что-то. Это меня встревожило не на шутку, и я потрогал талисманчик и помолился своими словами, чтоб все кончилось добром. Я вдруг перепугался чего-то.

Уже темнело, когда мы повернули назад.

Ветер заходил с разных сторон, как это бывает в пору смены муссонов, а небо было светлое, но свет его сильно деформировал окружающие предметы, и на расстоянии в тридцать шагов было трудно что-нибудь рассмотреть. А потом господь бог врубил ночное освещение и глупые бакланы потянулись к своим гнездам. Мы еще были на пол-

дороге от судна, когда поднялся туман и мы попали в ледоворот.

Странное дело: вокруг нас волокно и сшибало лед, а бот шел по спокойной воде, а лед так несло, что я едва успевал сворачивать...

— Ты только погляди! — крикнул я Бульбутенко. — Двигуны, что ли, на эти льдины поставили...

— Течение глубоко идет, мы его не достаем, а у льдин осадка побольше, вот их и несет, — объяснил он.

В этом месте, видно, пересекалось несколько морских течений, что было заметно по льду, который двигался в разных направлениях. Один поток льда, примерно в двести ярдов шириной, сворачивал к западу от нас — это было круговое движение по часовой стрелке, а на самом повороте в него под прямым углом врывался другой поток, который шел в обратную сторону... Льдины переворачивались, налезали друг на друга, а мы крутились в самом центре воронки и не знали, что делать, а в стороне я видел много чистой воды, даже барашки на ней ходили от ветра. И вдруг перед носом у нас развалилась небольшая льдинка, а из-под нее вылетел подсов величиной с одноэтажный дом, он потопил бы нас, но я успел дать задний ход и через горловину, которая образовалась между льдинами, выскочил на чистую воду. Но тут раздался стук в двигателе — и редуктор заходил, как контуженный...

Счастличик бросился ко мне и вырвал у меня румпальник. Он толкнул меня так сильно, что я не удержался на ногах и свалился в воду. Я висел за бортом по пояс в воде, упираясь руками в планшир, и Бульбутенко помог мне забраться в бот. Счастличик в это время возился под капотом, посвечивая себе фонариком.

— Ну что? — спросил Бульбутенко.

— У-у, торгаш... — Счастливчик замахнулся на меня гаечным ключом.

— Что случилось?

— Зачем ты взял его на бот? — закричал Счастливчик. — Ему надо сиську держать, а не румпальник!

— Ну?

— Подшипники полетели, — сообщил наконец Счастливчик. Он что-то держал на руке. — Два шарика: один пополам, а этот — на четыре части...

— А ты их давно менял?

— С весны. Сам знаешь, что редуктор новый.

Бульбутенко бросил якорь на большую льдину, которая проплывала мимо, и нас потащило за ней на буксире. Потом он развернул рацию и стал вызывать судно на связь.

Я за это время выкрутил штаны и портянки, вылил из сапог воду — она была совсем теплая, так я ее нагрел ногами, аж жалко было выливать... Мне вдруг тоскливо стало, кажется, на свет божий не глядел бы...

И вспомнил я своего «Франца Меринга» и ребят, с которыми десять лет работал на этом пароходе. Это Счастливчик загнул насчет лайнеров. Плевал я на красивые лайнеры! Допотопное было суденышко, в рубке даже гирокомпаса не было, только магнитный стоял, а машина работала на твердом топливе и так дымила, что наше судно знали по всему побережью. Женщины даже в управление звонили: очень интересуемся, мол, когда «Мерин» придет, чтоб успеть снять белье, а то закоптит. А мы чухали себе вдоль приморского бережка: Владивосток — Тетюхе — Находка — Ванино — и в обратном перечислении, возили кур, морскую капусту, картошку, всякую всячину, водили дружбу повсюду и не были внакладе. А потом, когда мы остались без парохода — он утонул прямо в бухте, во время погрузки; когда нам в Углегорске модные плащи «болонья»

выдали и по двести рублей компенсации за шмутки, которые остались на пароходе; когда Шурке захотелось иметь трехкомнатную квартиру в кооперативном доме,— тогда я и пошел на эту шхуну, где деньги прямо с неба падали. Случайно получилось: «Воямполка» с учеными ходила по Курилам, у них ученый погиб и судно отозвали во Владивосток, а потом бросили на промысел. Как раз перед этим я подвернулся, а у них команды не хватало — вот меня и взяли. Обрадовался я тогда, а сейчас понимаю, что зря: у меня здесь даже кореша хорошего не было...

— Не выходит на связь,— сказал Бульбутенко.

— А когда капчас? — спросил Счастливчик.

Бульбутенко посмотрел на часы.

— Проморгали уже. Теперь ждать около часа.

— За это время как раз на самую кромку вынесет,— сказал Счастливчик.

— Слушайте гудок,— сказал Бульбутенко.— Судно далеко, но все может быть...

— Разве услышишь сейчас? — возразил Счастливчик.— Такой туман — хоть радар на голову вешай.

Мы прислушались.

— Или не слышать ни черта, или вахтенный валяет ваньку,— сказал Бульбутенко.

— Вахтенный сейчас в очко играет с инженером по техбезопасности,— усмехнулся Счастливчик.

— А, чтоб его... — выругался Бульбутенко.

И тут мы слышали какой-то неясный гул. Это был непрерывный гул наката — то усиливающийся, то затихающий.

— На кромку выносит,— забеспокоился Бульбутенко.— Разгружайте бот, и будем уходить отсюда на веслах.

— Разве на веслах уйдешь? — возразил Счастливчик.— Течение вон какое...

— Спокойно,— Бульбутенко повернулся ко мне: — Живо выбрасывай шкуры!

— Куда выбрасывать? — не понял я.

— В воду, куда еще... Ну, чего уставился?

Бульбутенко потянул из-под меня шкуру, но я ухватился за нее с другой стороны. Мы дергали шкуру сколько хватало сил, и я ее не выпустил...

— Ты что, совсем рехнулся? — разозлился Бульбутенко.

Я промолчал.

— Он теперь ни за что не отдаст! — засмеялся Счастливчик.

Он вдруг стащил с себя свитер и бросил мне:

— Надень, старикашка, а то засинеешь...

Свитерок был добротный, крупной вязки. Я взял его.

Бульбутенко подозрительно посмотрел на Счастливчика.

— Ты что задумал? — спросил он. — А ну заberi свитер...

Я нерешительно протянул свитер Счастливчику: он мне очень был нужен сейчас, этот свитерок! «Счастливчик виноват,— думал я.— Из-за него ведь я искупался. А он, видно, осознал свою вину и дал мне этот свитер, чтоб я не замерз, а я взял его. Что же тут плохого?»

— Ты что задумал? — спрашивал Бульбутенко.

Счастливчик, не ответив ему, запахнул ватник на голой груди — он был без рубашки, а на ватнике у него не было ни одной пуговицы,— поднялся и, посвистывая, прыгнул на льдину.

— Стой! — вскинулся Бульбутенко. — Ты куда?

— Здесь я,— ответил Счастливчик, останавливаясь.

— Ты куда? Ты что, погубить нас захотел?

Счастливчик ничего не ответил, а я удивленно уста-

вился на Бульбутенко — он прямо дрожал от злости, я никогда не видел его таким. Я смотрел на Бульбутенко во все глаза: или я оттого не понимал ни черта, что был дурак дураком, или они сами ненормальные...

— Судно рядом,— сказал Счастливчик. Он стоял перед нами, опустив голову.— Чую, как пирожки пекут на камбузе...

— Судно далеко, а на ужин сегодня не пирожки, а пельмени,— не согласился Бульбутенко.

— Точно тебе говорю!

И тут мы услышали стук двигателя. Бульбутенко выпустил аварийную ракету. Это была наша «Тройка», ребята возвращались с промысла. Они подошли к нам, и рулевой с «Тройки» выключил двигатель и зацепился за нас абгалтером.

— Бульбутенко дело знает,— сказал рулевой.— Вон сколько зверя взяли! Теперь план ваш, это как в воду плюнуть.

— Чего там,— отмахнулся Бульбутенко.— А у вас почему так мало?

— Жинке везу половик,— сказал рулевой.

— Медведя подстрелили?

— Медведицу. Медвежонок ее сосал...

— Тоже взяли?

— Убежал...

— Все равно сдохнет без матери,— сказал Бульбутенко.— Желчный пузырь мне, ладно? — попросил он.

— Зачем тебе?

— Дочке надо желудок лечить.

— А дочка у тебя ничего?

— Ничего,— ответил Бульбутенко,— на меня похожа.

— Тогда точно красotka! — засмеялись на «Тройке».—

А что у вас случилось?

— Подпишники полетели.

— Отсюда до шхуны можно пешком дойти...

— Неужели капитан переход сделал? — встрепнулся Бульбутенко.

— Ты разве на капчас не выходил?

— Не до этого было, когда зверь пошел... А где судно?

— У самой кромки стоит. Распоряжение пришло — срочно идти в Магадан за рыболовным снаряжением. Так что конец промыслу.

— Твоя взяла, Счастливчик, — сказал Бульбутенко. — Признаю...

— Ты, старпом, видно, в рубашке родился, если этот Счастливчик не утопил вас, — сказал рулевой.

Счастливчик молчал.

— Ты Счастливчика не трогай, — обратился старшина «Тройки» к своему рулевому. — У него дружок погиб, научник, а Счастливчик живой остался...

Счастливчик словно воды в рот набрал.

— Ладно, — миролюбиво сказал Бульбутенко. — Поехали «Гусарскую балладу» крутить...

Минут через десять мы уже были на судне. Счастливчик остался в боте — он начал разбирать редуктор, а я взял ведро, перелил в него из бачка оставшуюся солярку и направился в машинное отделение. Когда я открыл дверь надстройки, то сразу ощутил запах мясных пирожков, который доносился из камбуза... Счастливчик правду сказал, ну и нюх у него!

Я вернулся на палубу и бросил в бот пустое ведро. Мне даже не хотелось идти отдыхать: промысел окончился, план мы взяли, завтра будем на берегу, — все пело в моей душе.

— Чего это они все на тебя? — спросил я у Счастливчика.

Счастливчик усмехнулся и ничего не ответил.

— Свитерок тебе отдать?

Счастливчик молча копался в редуторе.

— Свитерок у тебя важнецкий,— заметил я.— Я бы взял, бутылку поставлю на берегу...

Счастливчик посмотрел на меня.

— Пошел отсюда, сволочь...— В глазах у него лед плавал.

«Свитерок я тебе не отдам, раз такое оскорбление,— решил я.— Пойду Шурке и ребятишкам радиogramму отклепаю...»

4

В порт Нагаева мы пришли под утро следующего дня. По дороге на нас обрушился ливень с грозой. Я впервые наблюдал грозу в высоких широтах, в период сильных магнитных бурь — зрелище такое, что захватывает дух. А когда мы вошли в порт, небо было чистое, все суда сверкали, как после покраски, даже унылые лесовозы, которые грузили на рейде, не портили общего вида.

В бухте стояли тунцеловные суда со звездочками за ударную работу — они пришли с западного полушария, ледокол «Сибирь» и несколько незнакомых мне торговых пароходов. Мы пришвартовались к лихтеру немецкой постройки, и портовые грузчики, изголодавшись по работе, сразу стали кидать нам на палубу кошельковые невода, бухты поводов, кухтыли, сететряски, посолочные агрегаты — в общем, всю немудреную рыболовецкую технику. Эту технику мы должны были развезти по судам, которые находились на промысле. Скоро должна была пойти селедка, и нас бросали на транспортные работы. Мы селедку не ловили, а только должны были возить ее

с места промысла на плавбазы. Плавбаза «Днепр» стояла недалеко от нас — ржавая, с громадной трубой, из которой валил дым. На палубе завтракала бригада девушек-сезонниц — они стояли у борта, удерживая в руках дымящиеся тарелки. Много новоприбывших девушек было на пассажирском пароходе «Сергей Лазо», который отдавал якорь на противоположной стороне бухты.

Погрузку мы закончили после обеда, и нас сразу же отогнали на рейд. Я замешкался со сборами, и теперь мне пришлось добираться к берегу на рейдовом катере. Этот катерок носил громкое название: «Писатель Валерий Брюсов», работали на нем два матроса и старшина — волосатый мужик в выгоревшей рубашке, с кровоподтеком под глазом. Все они были в годах, хотя здесь возраст трудно определить, если человеку живется хорошо. А работа у них была, как говорят, «на шáру»: двое суток они работали, а трое отдыхали. Они, конечно, не отдыхали, они еще на трех работах вкалывали. И вечно ходили с протянутой рукой: краску им давай, кисти, гвозди... Я их деловой характер знал по Владивостоку — там таких хватало с избытком. Я сам как-то пробовал устроиться на такую работу, что немыслимо было. Мне сказали: возьмем, если умрет кто-нибудь... Но умирать из них никто не собирался — здоровые были мужики...

В городе я первым делом пустился по магазинам. Я хотел купить себе кожанку, но их уже расхватили моряки других судов. Тогда я купил Шурке бюстгальтер. Шурка написала мне, что во Владивостоке нет бюстгальтеров ее размера, а старый порвался, и ей на пляж выйти не в чем. Ей нужен был восьмой размер, я везде искал такой и нашел только в Магадане. А еще я купил Витькиным детишкам барахла на костюмчики и все это вместе отправил домой посылкой. Я даже успел попариться в

бане, а время еще оставалось, и тогда я решил посмотреть кино. В ожидании сеанса я устроился на скамейке перед кинотеатром «Горняк» и неторопливо тянул пиво из бутылки, разглядывая городской пейзаж, который особенно ясно воспринимаешь после парилки, на голодный желудок.

Я в Магадане был несколько раз, но почти не помнил его в хорошую погоду. Город был такой, словно его вымыли к празднику, не тронутый ни пылью, ни копотью, чувствовался сильный запах освеженных морским воздухом деревьев, и вкус пива придавал всему этому неповторимое ощущение. Все мне здесь сегодня было в новинку, но больше всего я глазел на северных девушек — они были в ярких летних одеждах, оттенявших белизну шеи и рук, едва тронутых скудным солнцем, а в глазах девушек, в их походке, во взглядах сквозило нетерпеливое ожидание любви, которая — что ни говори — по-настоящему приходит только один раз и имеет свой сезон, свое время...

Пока я пил пиво, сеанс начался, я вошел в зрительный зал с небольшим опозданием. Фильм был индийский, цветной, целых две серии, и пока я добрался в темноте до своего места, все женщины в зале уже плакали — чувствительная была картина. А женщин было много, у меня прямо глаза разбежались — я их давно не видел столько вместе. У меня от всего этого даже в горле пересохло, и я решил зайти в пельменную еще выпить пива — только на экран пару раз глянул да еще на плачущих женщин и вышел.

Пельменная находилась недалеко, двумя домами ниже по улице, но я не узнал ее теперь. За это время в городе появилось много разных перемен. Сейчас, к примеру, все столовые превращали вечером в рестораны, и цены были ресторанные, а в парикмахерских в основном работали

культурные женщины, а раньше мужики работали, настоящие разбойники,— того и гляди волосы оторвут вместе со шкурой! А еще, как я заметил, везде на туалетах появились шикарные портреты мужчины и женщины — женская головка под буквой «ж» и мужская голова под буквой «м», и разные другие перемены.

В пельменной сидело много народа, но из наших никого не было, кроме Счастливого. Он сидел за одним столом с двумя девушками, а одно место оставалось свободным, и я занял его.

На Счастливике был новенький костюм, однобортный, в широкую клетку — влетел он ему, видно, в копеечку. Счастливик был холостяком, я знал, что он деньги ни во что не ставит, но не осуждал его сегодня: он был такой представительный, прямо красивый в этом костюме... И девушки были под стать ему, особенно одна — лет восемнадцать на вид, голубоглазая, с загорелой кожей, с венком из одуванчиков в волосах. Вторая была темно-волосая, пухлая, в платье с таким глубоким вырезом на груди, что боязно было смотреть. Девушки вели пустяковый разговор, но я чувствовал, что между ними уже всю шло невидимое соревнование, как то бывает, когда обоим хочется понравиться одному человеку. И разговор, и загар, и одежда выдавали в них не местных, скорее всего, они были с запада и приехали сюда на селедочную путину.

Счастливик, казалось, никого не замечал вокруг, занятый какими-то своими мыслями. Он пил водку и молчал и все курил, а я входил во вкус пива — осушал бутылку за бутылкой, а потом подошла официантка. Это была еще молодая женщина, но уже с усиками, в служебной форме с кружевами, а на руке у нее был якорек вытатуирован — может, в прошлом морячка была или

так чего. Она считала пустые бутылки на столе и подозрительно посмотрела на меня.

— Чего смотрите? — разозлился я. — Я ничего не украл, я человек честный.

— Вы один или с товарищем? — спросила она у Счастливого.

— Чего? — не понял Счастливчик.

— Деньги, говорю, за этого гражданина тоже заплатите?

— Хорошо, — Счастливчик невесело подмигнул мне.

Он бросил ей сотню — одной бумажкой, и она так быстро стала отсчитывать сдачу, что уследить за ее руками невозможно было, только якорек мелькал... Счастливчик, не пересчитывая, сгреб бумажки и сунул их в карман. Девушки тоже рассчитались, одна из них поднялась — у нее было обиженное лицо, а вторая, с одуванчиками, продолжала сидеть, и тут я увидел, что она — впервые за это время — открыто смотрит на Счастливого. Это стоило ей немалых трудов: лицо разгорелось, на лбу от волнения пульсировала жилка...

Неизвестно, чем бы это кончилось, но тут Счастливчик посмотрел на нее.

— Ну как, договорились? — сказал он и вдруг положил ей руку на бедро. Я прямо позавидовал, что он умеет такие вещи делать просто-запросто.

Девушка вскочила так стремительно, что опрокинула стул.

— Как вам не стыдно! — сказала она. — Такой симпатичный, а хамите...

Счастливчик засмеялся, и я почувствовал, что ему приятно стало, что его называли «таким симпатичным». Девушки направились к выходу. В дверях та, с одуван-

чиками, оглянувшись на Счастливлчика, но он уже не смотрел на нее.

— Девка ничего,— заметил я.

— Что толку,— ответил Счастливлчик.— Я просто замыслился весь. С тех пор, как научник погиб, места себе не нахожу.

«Врешь ты все!» — подумал я.

— Он ни черта не боялся,— начал свое Счастливлчик.— А перед рейсом всегда семье завещание оставлял на случай смерти — он, видно, чувство имел, что скоро помрет. Вот такой человек был! Бывало, на Курилах — шторм, зыбь гонит, а он ко мне: давай, Володя, разогревай двигун, поедem на лежбище — дело есть. А я говорю: какое такое дело, еще перевернемся к чертям собачьим. А он: понимаешь, сивучиха из гарема к холостякам зашла. Интересно мне, накроют они ее или не накроют, а отсюда в бинокль ни черта не видать. Я отвечаю: если зашла, значит, накроют, ясное дело, мол. А он: не совсем, говорит, ясное, Володя. Это, говорит, научная проблема... Вот такой человек был, честное слово! Он среди ученых был первым, новый вид тюленя открыл, тридцать третий, что ли. Не из-за денег работал, веселый такой был, только погиб глупо, не повезло ему...

Мы помолчали.

— Ты,— сказал Счастливлчик и наклонился ко мне через стол, отодвигая посуду.— Я смерти не боюсь, но у меня все в башке звенит, когда я думаю...

— Надо тебе убежать с флотов, если думать начал,— ответил я ему. Я захмелел от пива, и мне хотелось разговаривать с ним.— Думаешь, я не знаю, что мне Шурка изменяет? — сказал я.— Знаю. И что? А то, что я ей деньги перевел и ее детишек от Витьки воспитываю.

А почему? А потому, что я не думаю об этом, я их всех все равно любить хочу, вот как!

— Про что я тебе говорю? — рассердился Счастливчик и толкнул меня в грудь. — Я тебе о смерти, о смерти говорю, а ты мне про Шурку плетешь... Ты что?

— А ты что? — Я тоже толкнул его локтем.

— Меня все зовут «Счастливчиком», — сказал он. — А знаешь почему?

— Почему тебя зовут Счастливчиком? — заинтересовался я.

— Будто не знаешь?

— Истинный бог! Все некогда было спросить...

— Дурак ты, — сказал он и отвернулся.

— Нет, скажи! — не отступал я.

— В шестьдесят втором, помнишь, четыре эрэса потопло? Один только человек выжил — за киль удержался, когда судно перевернулось. Помнишь?

— Ясно, что помню, — ответил я. — В газетах тогда печатали. Точно, один паренек спасся...

— Это я, — сказал Счастливчик.

— Ну! — не поверил я.

— А в шестьдесят седьмом вот что было, — рассказывал он. — На базе «Анна» я за одну девчонку вступился с витаминного завода, так меня шпана всего ножиками изрезала... Положили в больницу, а ребята в море ушли, и все погибли, до одного... В шестьдесят девятом, я тогда гарпунером был на китобойце, со мной на берегу тоже история приключилась — уже не помню, за кого я вступился, а ребята в Берингово ушли без меня и остались там...

— Как же, помню, — прервал я его. — Бухта Иматра, три могилы из камня, на самом мысу...

— Рыбачки меня в Невельске камнями закидали, когда я домой приехал. За то, что я живой остался! Я у мамы своей два раза после этого был, и все ночью... И песты от меня ушла — они подговорили... Ладно, перегорело в душе... — Он закашлялся и разогнал дым рукой. — Только вдруг хочется иногда кому-нибудь что-то хорошее сделать... Ну, хоть свитер подарить, как тебе вчера. Что-то такое сделать человеку, чтоб от него слово человеческое услышать!.. Ты понимаешь, что я говорю?

— Иди ты, — сказал я и пощупал талисманчик.

— А ведь я вчера вас бросить хотел, когда прыгнул на льдину, — вдруг сказал он.

— Зачем? — удивился я.

— Тошно мне стало, когда вы со старпомом шкуру друг у друга вырывали... А потом подумал: еще погибнут они без меня, раз на мне такое клеймо стоит...

— Ишь ты... — Я никак не мог понять, о чем он говорит.

— Смерть меня среди всех отметила, — говорил Счастливчик. — Играет она со мной — поиграет и погубит. А я ее сам ищу... Только не хочу, чтоб по-глупому случилось, как с милым дружкой моим, а чтоб людей спасти, а самому умереть — назло ей, напролом чтоб... Только я не хочу умирать, — говорил он, — я не ради денег работаю: я море люблю, детишек люблю, животных люблю...

— Не может, чтоб такое было... — проговорил я.

Счастливчик посмотрел на меня и ничего не сказал.

«Не может такое быть, — лихорадочно думал я. — Но чего-то неладно здесь... А свитерок ему надо отдать, выбросить, утопить его к чертям собачьим... Ведь если б мы тогда на «Тройку» не навались, прямо неизвестно, что могло произойти»...

— Поднимайся,— сказал я,— а то судно уйдет...

— Не уйдет,— усмехнулся он.— Они за мной обязательно прибегут, весь город перевернут, а разыщут...

На остановке я вскочил в автобус и поехал в порт. Можно сказать, не ехал, а бежал впереди автобуса — так мне не терпелось на судно после этого разговора. Едва показались портовые постройки, как народ в автобусе заволновался. Я глянул в окно и увидел нашу шхуну — она стояла у самого выходного мыса, а еще я увидел много других судов, которые спешно отходили на рейд. Меня не только удивило то, что они отходили, сколько — как они были освещены. Вся бухта была как-то странно освещена. И тут я понял, что в порту ЧП — наверное, что-то загорелось...

По причалу толкалось несколько моряков в ожидании рейдового катера. От них я узнал, что случилось: загорелся «Сергей Лазо», который привез сезонников. У них там вся машинная команда отправилась на берег, на вахте остался ученик моториста, и он по глупости врубил топливо, не продув топку, — весь котел разорвало к чертям...

Катера долго не было, а потом пришел знакомый «Валерий Брюсов», и эти пройдохи, конечно, содрали с нас по пятерке, прежде чем согласились подбросить на рейд.

Когда мы вышли из-под прикрытия мыса, в воздухе запахло горелым железом и стало так тепло, что я расстегнул телогрейку. И тут мы увидели горящий пароход. Наверное, пожар в порту — самое страшное, что можно придумать... «Лазо» горел так, что берег был освещен на целую милю. Пожар, видно, застал всех врасплох: люди бежали, забыв закрыть двери и иллюминаторы кают, а там возникла такая тяга, что пламя вырывалось из иллю-

минаторов метра на три... Самое лучшее было бы затопить пароход, но попробуй это сделай сейчас... К тому же на палубе я видел людей, но сюда не доносились их крики... Там работали спасательные суда, а еще «Лазо» был буквально облеплен «жучками» — швартовыми буксирами. Эти работяги трудились изо всех сил, поливая борта водой из шлангов.

На шхуне почти вся команда была в сборе, хотя на палубе никого не было видно, кроме вахтенных: все лежали в каютах — видно, хватили лишнего на берегу... Стрелы, трюм и боты были закреплены по-походному, ожидали старпома, который поехал оформлять отход. Старпома долго не было — наверное, портовому начальству было теперь не до нас. Старпом привез с собой какого-то мазурика в кожаной куртке, в расклепанных книзу брюках с металлическими заклепками.

— Будет вместо Счастливого, — сказал Бульбутенко. — Чтоб бондарить, таскать бочки — особого ума не надо...

— А Счастливчик как? — спросил я.

— Счастливчик в больнице, — ответил он. — Ожог второй степени...

— Да ты что? — изумился я. — Я ж с ним только что в пельменной сидел...

— Счастливчик, я тебе скажу, вот такой человек! — Бульбутенко не глядел на меня. — Если б ты знал, что там творилось... Девчонки приехали на море посмотреть, а тут — на тебе...

— Значит, без Счастливого уйдем?

— Ты пока помалкивай, понял? А я ребятам скажу, что отпустил его на несколько суток: мол, догонит нас на комбинате... Он, может, и в самом деле догонит, может, еще все обойдется — ведь ему не привыкать...

«Как он успел там оказаться? Ему и вправду везет на такие случаи...— думал я.— А если б там моя сестренка была или — боже упаси! — Шурка с ребятишками... Ведь это он бы их спасал, он, а не те, которые дрыхнут в каютах...— Но тут я вспомнил наш разговор в пельменной, и мурашки у меня пошли по спине.— Кончено! — думал я, глядя на горящий пароход.— Надо бросать эту работу. На селедку схожу, и хватит. Лучше дворником работать, лучше пускай меня сосулькой убьет на земле — все равно лучше. Я Шурке так и скажу... К чертовой матери, к чертям собачьим это море!»

А потом я увидел маяк и норд-вест ударил меня по ноздрям, и я подумал о море — каким я хотел его видеть: и как Шурка встретит меня после плаванья, и какая у нас будет хорошая жизнь, если я заработаю денег побольше, а Шурка нарожает мне детей... И подумал: «Ну его к чертям, чтоб я думал обо всем этом! Я, слава богу, много от жизни не хочу. И будь что будет... А из кино я зря ушел: такую картину показывали и так женщины плакали... Ну просто дурак, что не досмотрел!»



— Нерпа, я — Двойка! Нерпа, я — Двойка! — кричал по радиостанции Тимофеич, старшина бота. — Прошу капитана на связь. Прошу капитана. Прием.

— «Двойка», я — «Нерпа»... Тимофеич, что у тебя?

— Пеленг... Пеленг на нас взяли? Пеленг взяли? Прием.

— Про пеленг не думай: пеленг взяли. Взяли...

— Теперь скажу про обстановку: нахожусь на зюйде, на зюйде. Лед тяжелый. Привязался к ропаку. Дрейф... — Тимофеич полой ватника протер стекло компаса: — Норд-норд-ост. Норд-норд-ост.

— Про обстановку тоже не думай: сейчас поднимем «четверку» и идем за вами, идем за вами... Что еще?

— Про посылку хочу спросить. У меня в ней стоит скипидар, от ревматизму. Баба налила его в водочную бутылку, так что ребята, не разобравшись, запросто могут выпить. И насчет остальной жратвы: жинка ее дустом обсыпала — чтоб таракана отпугнуть...

— Про посылку и вовсе забудь: я твоего не возьму и другим закажу... Все?

— Лазарь... чего-то не в себе он сегодня...— Тимофеич, покашляв, оглянулся на стрелка, который сидел на носу бота.— Моторист за него стреляет. Моторист стреляет...

— Дострелялся он у тебя!

— Девушка его рожает, девушка рожает...

— Родила уже. Радиограммка вот... Дочка у него, три восемьсот.

— Жорка, дочка у тебя...

— Передал ему?

— Ага.

— Ну, чего он?

— Дрыхнет на капоте... Ага, желает поговорить...

Моторист, с хрустом потянувшись, приподнялся на локте и взял у Тимофеича трубку.

— Это от кого же радиограммка? — спросил он.

— От Надьки.

— А-а...

— Подкачал ты, Жора! — укоризненно сказал капитан.— Ведь если каждый из нас будет замест себя бабу делать — кому мы тогда это море оставим?

— А что еще может родиться, когда все время на таком холоде? — пожаловался моторист.— Ладно, что человек вышел...

— Слушай совет: не будешь думать, как живешь, не будешь думать, что умрешь... Понял?

— Ты про что?

— Про содержание жизни говорю.

— А я у тебя про выпивку хотел спросить...

— Про выпивку спрашивать нечего: оставим тебе со стрелком, раз вы не получили посылки.

— Спасибо на этом...

Тимофеич начал складывать рацию, а моторист достал из кармана ватника обтрепанную пачку «Беломора», красными негнущимися пальцами выловил из нее последнюю папиросу и отошел к наветренному борту — покурить.

Солнце только-только закатилось. Горизонт — западная его часть — был освещен зарей, но свет ее замутили дымы судов, стоявших у кромки в ожидании ледокола. В воздухе раздавались крики чаек-поморов (их было легко узнать по характерному косому полету), они стремительно бросались из стороны в сторону, выглядывая добычу. Вокруг лежал тяжелый, дымивший на морозе лед. Наверное, нет ничего безрадостнее, чем видеть ледовое поле с высоты небольшой плюшки: какое-то дурацкое нагромождение льдин, бессмысленная трата энергии солнца, ветра, морских течений... Но постепенно глаз находил во всем этом какую-то странную гармонию, а порой — сознательную, одушевленную работу. И уже казалось, что перед тобой — громадная мастерская природы, порыв вдохновения неизвестного художника, который потрудился на совесть. Чего только здесь не было: суда разных видов, полет морских птиц, человеческие фигуры... Моторист даже поймал себя на том, что старается отыскать среди них свою девушку...

«Вот дура! — подумал он уже в который раз. — Дого-

ворились ведь, что не будет ребенка... Чего ж это она? А может, решила опутать меня: ну, если не замуж, так хоть алименты на последний случай! Что-то непохоже на нее... Вот Верка — этой точно пора родить, старая уже, ничего ей не остается. А Надька молодая совсем, ей бы еще жить да жить... Нет, в самом деле: чего это она?» — озадаченно думал моторист.

Тут как раз раздался плеск и возле борта вынырнул тюлень. Моторист пригнулся и, не оборачиваясь, поискал за спиной винтовку. Стрелок на носу тоже зашевелился и, болезненно напрягая лицо, посмотрел на воду.

— Подранок, — сказал моторист. — Тот самый... И чего он увязался за нами?

— погоди, — остановил его Тимофеич. — Разве не видишь: руками можно брать...

У тюленя было разорвано горло. Он беспомощно барахтался в воде, глядя на людей испуганными детскими глазами, а потом стал тонуть, но моторист ухватил его багром. Он втащил тюленя в бот и положил поперек — так, чтоб кровь выливалась за борт, достал из чехла промысловый нож и начал снимать шкуру.

Делал он это с таким мастерством, что невольно создавалось странное ощущение, будто он просто раздевает тюленя, не причиняя ему боли, вернее, раздевается сам тюлень, а моторист только помогает ему... Тюлень засыпал у него под ножом.

— Самка это, — сказал моторист. — Щенястая: белек у нее...

— Вот поэтому и не отставала от нас: не хотела тонуть с детенышем... Животная, а — на тебе! — удивился Тимофеич.

— Что толку? Мертвый он, наверное, задохнулся после выстрела...

Тимофеич сунул «Недру» под капот и подошел к убитому тюленю.

— Сегодня б щенила, у самого выхода стоял,— заметил он. И пошутил: — Вроде как именинники были бы сегодня этот белек и твоя дочка... А, Жорка?

— Какие еще именинники? — нахмурился моторист. Он швырнул тюлененка в трюм и зло сказал молчаливо сидевшему стрелку: — Чего расселся, мурло? Не стреляешь, так хоть бы зверя разделявал!

— Ну, чего ты? — испугался Тимофеич. — Жорка, ты чего?

Моторист отмахнулся от него. Он сполоснул шкуру, уложил ее в трюм и, перегнувшись через борт, отмыл нож в розовой от крови воде. На рукоятки ножа у него была изображена обнаженная девушка, а большой палец левой руки изуродован чингой. Моторист был рослый парень в ватных штанах и голубой полотняной рубаше, поверх которой была надета толстовка без рукавов, подбитая оленьим мехом.

— Слышь, Жорка, — распорядился Тимофеич. — Скидывай хоровину¹ на лед, пока еще свет есть...

— Вечно ты найдешь работу, — недовольно ответил моторист.

— Ну, подумай: а если не попадем сегодня на судно? — оправдывался Тимофеич. — Скорей всего, так оно и будет... Что тогда? Попреют завтра шкуры на жаре — весь день рабочий насмарку...

Моторист стал выбрасывать на льдину, к которой был пришвартован бот, тяжелые тюленьи шкуры. Тимофеич готовил их к работе: растаскивал по льдине, просунув

¹ Промысловое название шкуры с салом.

руки в дыры, оставшиеся от вырезанных ластов. Шкуры лежали салом кверху, напоминая громадные спекшиеся блины. Тут было несколько неразделанных звериных туш — не успели обработать в горячке промысла. Тимофеич пересчитал шкуры и записал цифру в блокнотик, который он носил на груди наподобие креста. Моторист тем временем сполоснул пустой трюм забортной водой, черпая ее ведром, и выгнал воду насосом, чтоб не замерзла. Он увидел на дне трюма задохнувшегося белька, но не выбросил его Тимофеичу. «Сделаю из него шапку,— решил он.— Все равно этот белек для плана ничего не сделает».

Старшина и моторист принялись за работу: срезали клочья черного мяса, бросали в воду. Чайки закружили над ними, выхватывая мясо прямо из рук.

— Вот сколько взяли сегодня! — сказал моторист.— Твой Лазарь и за неделю не настрелял бы столько...

— Ловок ты, что и говорить,— согласился Тимофеич.

— Взял бы меня за стрелка? — загорелся моторист.— А то надоело форсунки дергать!

— Мое дело маленькое — как начальство решит,— уклончиво ответил Тимофеич.— А знаешь новую инструкцию: если, к примеру, отстрелишь у зверя усы, мех идет по стандарту вторым сортом. А то и вовсе на кожу...

— При чем тут усы?

— А при том, что от твоей стрельбы большой ущерб получается для меха. А у нас весь план на меху держится!

— Не во мне тут причина,— возразил моторист,— а в винтовке. То есть в пуле. Надо пятку у пули делать плоской, тогда меньше будет разрыв.

— Чего ж тогда у него получается? — Тимофеич кив-

нул на стрелка.— Может, поработал бы для согрева, а, Лазарь? — обратился он к нему.

Стрелок вздрогнул и уставился на старшину.

— Жарко мне...— сказал он вдруг.

Тимофеич с мотористом, опустив ножи, подождали с минуту — не скажет ли он еще что-нибудь? — но стрелок больше ничего не сказал.

— Выдумал себе отговорку, чтоб лодыря строить! — снова разозлился моторист.— «Жарко мне!» — передразнил он стрелка.— Так, может, скинуть тебя в воду, чтоб остудился?

— Не ругайтесь, ребятки! — забеспокоился Тимофеич.— У меня раз на «Акибе» тоже разругались из-за пустяка. И что вышло: столкнул один другого в воду, а тот чуть было не утонул...

— К чему ты это? — опешил моторист.

— А к тому, что он инструкцию подписать не успел... А инструкция нам, штурманам, что велит? Велит научить неумеющих плавать держанию в воде... Теперь попробуй рассуди: а как ты его научишь плавать в этом море?

— Да, могли они подвести тебя, старого пса, под монастырь...

— За тебя я бы не отвечал,— нисколько не обиженный, сказал Тимофеич.— И за него тоже. Вы инструкцию по техбезопасности подписали... Только к чему вам молодые жизни зазря решать? Или неправду говорю...

— Верно, погодим маленько,— усмехнулся моторист.— Глянь-ка! — удивился он.— Вот чудо-то: бабочка...

— Где?

— Вон, туда гляди...

В самом деле: над их головами, трепеща крылышками и будто проваливаясь в воздухе, летела бабочка,

— Неужели так близко к берегу подогнало? — удивился моторист.

— До берега отсюда — два лаптя по карте, — возразил Тимофеич. — Здешняя она, во льду живет. В полста седьмом, как мы ходили на Медный сивучей стрелять, я их там, бабочек этих, много видел... Лазарь! — крикнул он. — Ты куда?

Стрелок грузно спрыгнул на льдину и заметался по ней, будто исполнял какой-то дикий танец, — он ловил бабочку. Та трепетала у него над головой, возникая нечетким пятном то в одной, то в другой стороне. Уследить за ней было трудно, но стрелок не отставал и один раз совсем было схватил ее, но, будто не поверив в это, раскрыл кулак... Дело окончилось вот чем: стрелок, карабкаясь по крутому горбу льдины, оступился и кубарем полетел вниз, заскочив по грудь в глубокую лунку, наполненную водой. Подбежавшие старшина с мотористом с трудом вытащили его оттуда.

— Лазарь... — проговорил Тимофеич, отдышавшись. — Совсем ты sdурел, а?

— Подкова на сапоге оторвалась, а так бы не поскользнулся... Поймал бы, Тимофеич... Ведь с ладони, с ладони улетела!

— Да зачем она тебе?

— В Сад-городе... бабочки летали... 25 числа... — проговорил стрелок, задыхаясь, вздрагивая от холода.

Вид у него был довольно комичный в эту минуту: шапка сбилась на ухо, открывая остатки потных рыжеватых волос, мокрая телогрейка с пришитыми к самому краю пуговицами была растегнута — стрелок не то что бы был толст, просто очень сильно развит в груди, — а ниже на нем уже ничего не было: сапоги он сбросил и сейчас стоял на них, а штаны, суконные портянки и кальсоны

скрутил жгутом и, выжимая воду, перекидывал жгут из руки в руку, словно горящую головню...

Старшина и моторист, ничего не понимая, удивленно смотрели на него.

— Говорил тебе, Тимофеич: лечить его надо, а ты ему винтовку даешь! Пойду запущу двигун, а то не могу я на него смотреть...

— Ты что? — возмутился Тимофеич. — Солярки осталось со стакан, а ты ее жечь?! А если ночью на кромку вынесет, что тогда? Ветер, посмотри, вестовый...

— Выходит, пусть околеваает тут, раз технику безопасности успел сдать? — Моторист остановился и, не глядя на Тимофеича, сплюнул себе под ноги.

— А шкуры зачем?

— Что шкуры: спереди тепло, а сзади мерзло... Да и пока разгорятся они!

Он прыгнул в бот и потянул к себе пусковой шпагат от стартера. Все вокруг огласилось треском заработавшего двигателя. Моторист привязал шпагат к румпальнику и стал помогать Тимофеичу укладывать шкуры обратно в трюм. Стрелок, развесив на трубе глушителя мокрое белье, снова устроился на носу, обернув телогрейкой голые ноги.

Управившись с работой, старшина с мотористом принялись за страпню.

Моторист поджег на капоте тюленью шкуру. Тимофеич вытряхнул из цинка патроны, положил в него кусок тюленьего сала и поставил цинк на огонь, а потом, когда сало растопилось, бросил туда несколько кусков тюленьей печенки. Вскоре ужин был готов. Они начали есть, по очереди выхватывая ножами из цинка дымившуюся печенку. Потом Тимофеич, отворачивая от огня горбоносое, удлиненное бородой лицо, подтянул абгалтером раска-

лившийся цинк, отвинтил крышку термоса и, наклонив цинк, вылил в нее кипящий жир.

— Как ты его пьешь? — поморщился моторист.

— Полезная вещь, — ответил Тимофеич. — И для желудка, и по мужской части...

— Жена, видно, ждет не дождется, когда ты в море уйдешь...

— А мы с ней не уступим один другому, — засмеялся Тимофеич. — Поверишь, аж боимся друг на друга глядеть... — Он достал из ватника конверт и посмотрел на него так, будто проверял сотенную. — Пишет, что с водой плохо: колонка испортилась, за два квартала приходится бегать...

— Дети помогут. Их у тебя, видно, целый детсад...

— Какой там детсад! Давно на свои ноги стали, разъехались кто куда... По правде сказать, — признался он, — и не видел я, как родились они, как уехали... Знаю, что были дети, а теперь их нету... Ну, да что про них говорить! Только б все тихо-мирно, а там выйду на пенсию и буду свой ревматизм лечить, — Тимофеич приспустил сапог и ласково погладил худую, без икры, ногу. — Денег не мешало бы еще призапасить: долго жить собираюсь. Теперь у нас главная жизнь должна начаться! — с одушевлением говорил он. — Теперь только для себя будем трудиться...

Моторист отвернулся от него.

— Скучно мне что-то, — пожаловался он и повернулся к стрелку: — Слышь, мурло? А ну сбреши чего-нибудь...

— Чего сбрехать? — спросил стрелок.

Он натянул на себя дымящуюся одежду и, заглушив двигатель, тоже пристроился рядом с ними на капоте. Какая-то перемена произошла в нем, и былую скованность как рукой сняло. Более того: он прямо не находил

себе места от возбуждения — лицо у него покраснелось, он нетерпеливо ерзал, поглядывая с дружелюбным удивлением то на старшину, то на моториста, будто только сейчас познакомился с ними и был доволен этим знакомством...

— Чего сбrehать? — повторил он.

— Ну, сбrehи про двадцать пятое число, — сказал моторист. — Про жару, бабочек — что там было...

— Жарко было, — ответил стрелок, смущенно улыбаясь. — Приморский орех там растет, лужок там и речка...

— Где это?

— В Сад-городе...

— Ага.

— А она смеется: «Молодой парень, поймайте моему сыну бабочку, а то мы никак не можем ее поймать...»

— Кто, говоришь, смеется?

— Женщина одна, с ребенком... Я, значит, пиджак снял и пошел эту бабочку ловить, а они следом бегут... А потом ребенок и говорит: «Папа, я не хочу бабочку, потому что я хочу орех». А она ему: «Разве это папа, это же чужой дядя!» — говорит. Правду тебе говорю!

— Ну-ну...

— Ну, сорвал я ребенку орех и наказываю: не кусай его, в нем йоду много, обожжешься! А ребенок сразу и укусил — разревелся, ясное дело... Тут она зачерпнула ладошами из речки и подносит ему: «Попей, — говорит, — легче станет». А ребенок: «Не хочу!» — он, как я заметил, любил поперек тебе делать... Тогда я стал воду пить у бабы из ладош, чтоб ребенка заохотить, а она застеснялась и обрызгала мне лицо и тенниску... В общем, поехал я тогда.

— Куда поехал?

— В морпорт. Я там после отгулов подрабатывал на погрузке... А они меня проводили вдвоем до электрички, она на прощанье платочком помахала...

— И все, что ли? — разочарованно спросил моторист.

— Все... — Стрелок, оскальзываясь негнувшимися пальцами на пуговицах, стал торопливо расстегивать телогрейку. — Жарко было... — говорил он, тихо улыбаясь. — Двадцать пятого числа... Я, как найдет на меня жара, прямо работать не могу — все мне тогда до ручки...

— Неужто ровно по числу? — удивился Тимофеич.

Стрелок кивнул.

— Врешь ты, — не поверил моторист, — тридцать первое сегодня...

Стрелок ему не ответил. Тогда моторист спросил:

— Ни разу ее больше не видел?

— Уже два года как... Все некогда было в Сад-город съездить. На море думаешь: как во Владивосток придем, сразу отскочу туда. Мне хотя б на двадцать минут, только дома пересчитать... А придешь в город — не до этого. К тому же робею я: а если встрену в самом деле? Чего я ей скажу?

— А может, она приезжая была?

— Наверное, приезжая, — сразу согласился стрелок.

— Ну и дурак ты! Может, она от тебя чего хотела, а ты? Я прямо стрелял бы нашего брата, который момент упускает на берегу! — неожиданно разволновался он, — Э-эх, что говорить!..

Моторист перешагнул через лежавшего Тимофеича и сел на планшир, свесив через борт ноги в яловых сапогах.

«Дура-баба! — подумал он снова о Надьке. — Чего сделала... Ей-богу, все это она нарочно сделала, чтоб опутать меня... — Он представил Надькину комнату в общежитии кирпичного завода на Угольной, плакат на стене: «Здесь

умеют верить и ждать», а под плакатом — его фотокартонка... — Хитрая! И отдельную комнату ей дали потому, что распустила слух, будто я на ней женюсь... Ну нет, насчет ЗАГСа — дудки! — ничего у нее насчет ЗАГСа не получится! Необразованная ведь она, Надька... Что она: семилетку кое-как окончила, в солдатки пошла, потом буфетчицей работала на плавбазе, а теперь на кирпичный устроилась. Необразованная... Вот была Катя, на этой и жениться можно было: пединститут окончила...» Раз он из-за нее весь город обежал, хотел купить подарок. Нашел на барахолке японское белье: рейтузы, лифчик и все остальное. Уйму денег положил, а она не оценила: обиделась, до сих пор с ним не разговаривает из-за этого... «Вот тебе раз! А Надька б оценила, а ведь ни разу ей подарка не купил...»

— Скучно чего-то, — сказал он. — Скорей бы ребята пришли... Может, крикнуть кому-нибудь? — Он посмотрел на часы. — Как раз на связь выходить...

— Верно, пора, — отозвался без интереса Тимофеевич. — Говори, а я подремлю маленько.

Моторист настроил радию и тотчас услышал голос судового радиста. Тот кричал, глотая слова, одурелый от водки и насморка:

— «Двойка», я — «Нерпа»... Ес-си меня слыш-те, говорите: «да», ес-си не слышите — «не»... Понял вас, понял вас: вы меня не слышите...

— Ты что, вовсе лыка не вяжешь?

— Жора... Жор, здорово!

— Привет.

— Идем к вам, идем к вам... Прием.

— А где капитан?

— В гальюн пошел, в гальюн пошел.

- Ясно. Позови рулевого...
- Сейчас... Слышь: нет в рубке никого, нет никого...
- Куда ж вы идете?
- Идем к вам, идем к вам... Жор, ну и подкачал ты!
- Чего так?
- Дочка, говорю, дочка... Прием.
- Пошел ты... — Моторист выругался и выключил радицию.

«Скучно мне чего-то...» — вновь пришло мотористу в голову, хотя он, кажется, меньше всего думал сейчас о том, скучно ему или весело. Он с беспокойством ощупал карманы в надежде отыскать хотя бы окурок, ничего не нашел и как-то беспомощно оглянулся.

Стрелок уже спал, уронив на скрещенные руки лысую голову, зябко сутулился у огня Тимофейч. И кругом не на что было посмотреть: воздух был темный, в нем смугло блистали первые звезды, а по горизонту неясно проступали очертания облаков; по ним скользили светлые пятна — то был отраженный свет ледовых полей, которые безостановочно гнали в океан муссонные ветры...

«Засвечу я сейчас!» — решил моторист.

Он пододвинул к себе ящик с пиротехникой, запустил в него руку и вытащил аварийную ракету-шестизвездку. Крепко зажав патрон, он отвинтил колпачок, вытянул шнур с кольцом и дернул к себе... Ракета выстрелила, едва не вырвав гильзу из рук. Все вокруг красно осветилось, но то, что увидел моторист, не вызвало в нем никакого интереса.

«Пуцу-ка зеленую теперь...»

— Ты чего? — вскинулся дремавший Тимофейч. — Жорка, ты чего?

— А чего?

— Еще спасатель увидит!

— Ну и пускай спасает,— вяло ответил моторист.

— Жорка,— разволновался Тимофеич,— да я тебя стрелком возьму, если Лазарь заболает... Ты сам подумай: на черта нам спасатель! Они за спасение, знаешь, сколько с управления срежут? А управление с кого? С нас, ясное дело. Вся прогрессивка полетит к едреной кочерыжке! Ты ж первый и виноват будешь, раз по твоей причине запасной бачок с соляжкой забыли...

— Сам надоумил меня с бачком,— возразил моторист.— Говорил, что места много занимает, некуда шкуры девать...

— Ты, я — кто там будет разбираться... Срежут прогрессивку, столько денег выбросим на ветер, дурак! Или нам они легко даются? Неужто это объяснять надо?

— Понимаем, не первый день замужем...

— То-та! Должон видеть, что к чему, раз семейный ты теперь...

Моторист хотел было возразить, что никакой он не семейный, а с чего они весь этот галдеж устроили, так ему просто непонятно. Даже если у его знакомой и появился ребенок, так разве это о чем-нибудь говорит? ...А познакомились в апреле, то есть на пасху по старым предрассудкам... Они тогда на ремонте стояли во Владивостоке. Он ночевал у сестры Верки, на Угольной. Утром проснулся — Верка гладит его рубашки. Подошел в трусах к форточке покурить. А тут Надька вошла, в руках у нее крашенные яйца. Говорит Верке: «Давай похристосуемся». Они расцеловались. Потом подходит к нему — выпивши она была маленько... Ну, поцеловались. «Давай еще, а то не распробовала»... Они еще раз. А Верка рубашки гладит... Что ему в Надьке понравилось: рост у нее хороший, со всех сторон круглая, лицо розовое с улицы... И смело в глаза

глядит: «Что, правлюсь я тебе?»—«Нрависься».—«Дымища у вас,—говорит,—хоть окно откройте: тепло как на улице! Ну, я пошла...» Тут он скоренько штаны, рубаху натянул, выскочил во двор... Она возле калитки стоит, придерживает от ветра юбку: «Жорик, увидела тебя—и словно приворожил ты меня чем. Стыдно сказать, только чего хочешь, то и делай со мной».—«Обожди, сейчас сбегаю за рубашками...» А Верка молодец, выручила: побросала рубашки прямо из окна, они с Надькой ловили их внизу, горячие от утюга...

— Гудит чего-то,—сказал Тимофеич.—Неужто на кромку выносит? Нет, не должно бы...

Моторист прислушался, глянул на небо.

— Ледовый разведчик это,—сказал он.—Посмотрика... Генка Политовский летит! Вот ей-богу... Дай крикну, а то мимо пролетит...

— Только лишнее не говори,—предостерег Тимофеич.

— Двумя словами перекинемся... Я — «Двойка»!—закричал по радию моторист.—«Лилипут», отвечай! «Лилипут», отвечай!

Ледовый разведчик грузно перевалился на крыло, показав различительные огни, и начал спускаться, описывая плавный круг.

— «Двойка», я — «Лилипут»... Кто вызывает? Прием.

— Гена, здорово!

— Здорово. Кто это?

— Жорка говорит. Жорка Латур с «Нерпы».

— Жора! — закричал летчик.—У меня известие для тебя: дочка у тебя, дочка... Прием.

— Ничего, переживем как-нибудь...

— Это вы ракеты пускали?

— Тут у нас солярка кончилась. И вообще... Слышь, Гена: крикни спасателю, а то надоело здесь!

- Некогда ему: за шведом пошел, за шведом...
- А мы, значит, хуже шведа?
- Тут обижаться нечего: швед в гостях, а вы, считай, у себя дома, — сказал летчик.
- Само собой, — засмеялся моторист. — Наше это море, для нас сделано...
- К тому же шхуну вижу, шхуну вижу...
- Они там посылки из дому получили, к празднику...
- Мимо не пройдет?
- Прямо на вас прет.
- Даже интересно: там у них в рубке никого нет...
- Судну не привыкать, само к вам дорогу найдет, — пошутил Генка. — Ну, будь здоров, а то некогда мне.
- Гуляй...

Моторист подул на окоченевшие пальцы, прислушался. Вокруг стояла такая тишина, аж глохло в ушах, только временами, пушечно выстрелив, лопалась льдина или выскакивал подсов, шумно расплескав вокруг себя воду...

«Или «Шлюп» настроить, пока еще есть время? — подумал моторист. — Крикнуть на метеостанцию: может, там приятель дежурит... А может, Надьке радировать — поздравить дуреху?.. Крикнуть, и чтоб она в ответ крикнула... Чего это со мной сегодня? — недоумевал он. — Сколько раз попадал во всякие передряги, и ничего. Ничего не оставалось. Видно, потому, что ни о чем в это время не думаешь. А если и придумаешь что-нибудь, так нарочно такое, чего, может, и в жизни не бывало и быть не может. Потом сразу забудешь про это, и ладно. А сегодня совсем другое лезет в голову...»

Моторист обернулся, услышав за спиной какую-то возню и хрип. Вытаращил глаза: по шкурам ползал белек, тыкаясь носом в обрызганные кровью трюмные доски. «Ну и

живучий зверь! — подивился он. — Это ж надо: издох, а потом снова ожил! Видно, неправду говорят: не сумеем мы этого зверя начисто вывести...»

Он взял тюлененка на грудь. У того под густым мехом бешено колотилось сердце — аж прыгала ладонь. «Были бы именинники сегодня этот белек и твоя дочка», — вспомнилось ему.

Моторист перекрестил тюлененка ножом:

— Живи, родственник!

И выпустил его в море.



1

— Сколько? — спросил капитан. Вахтенный помощник Степаныч оторвался от бинокля и глянул на счетчик эхолота.

— Двадцать шесть, — сказал он и сам удивился: — Скоро в берег ткнемся, а все больше двадцати!

— Течение донное, — заметил капитан. — Никакого земснаряда не нужно. — И приказал мне: — Держи на баржу, прямо на этих баб...

— Ничего не видно, — пожаловался я. — Чего они нос облепили? — Я показал на ребята.

Капитан приподнял окно рубки.

— Чего столпились на палубе! — закричал он. — Вы что, баб не видели?

— Они без купальников,— хохотнул Степаныч.— Я такое раз в японском журнале видел...

— А кого им стесняться? — усмехнулся капитан.— Мужики все на рыбе, тут одни бабы остались.

— Дай-ка глянуть,— попросил я и отобрал у Степаныча бинокль.

На берегу, на полузасыпанных песком кунгасах, обсыхали после купания женщины — они растянулись прямо на голых досках. И еще две мокрые купальщицы карабкались на кунгас, все у них было коричневое, видно, все лето загорали в чем мать родила. Они видели, что мы разглядываем их, и показывали нам языки, а потом оделись не торопясь, попрыгали с кунгасов и припустили по берегу — их цветастые платья замелькали на пустынном пляже за причалами...

— Влево ушел! Ты что, ослеп? — набросился на меня капитан.— Положи бинокль!

— С ума можно сойти! — засмеялся я.

Боцман Саня просунул голову в рубку, он улыбался, показывая крупные прокуренные зубы.

— Где это мы? — спросил он.

— Москальво,— ответил капитан.— Готовь шланги: воду возьмем и обратно.

— Вот тебе на! — удивился Саня.— Это тебе не то чтоб так это...— Лицо боцмана изображало решительное несогласие с таким намерением капитана, он страдальчески тряс головой и шевелил губами, подыскивая слова, но так и не сумел произнести что-либо путное... Впрочем, капитан и так понял его.

— Поразговаривай у меня! — пригрозил он.— И живо, а то опять ни одна пробка не подойдет!

Боцман вытянул голову из иллюминатора и спустился на палубу. Было видно, как он давал внизу распоряже-

ния, показывая рукой на ванты, но никто не внял ему, и кончилось тем, что боцман сам полез на ванты и завозился там, сбрасывая планги вниз.

Был полдень — сухой и жаркий, без ветра. Цистерны на берегу, покрашенные серебром, резали глаза, желтый зной колыхался над ними; пахло бензином — это испарялась солярка, разлитая по всей бухте. Только лес, тянувшийся по песку далеко за конторой, казался прохладным и свежим.

Возле конторы милиционер пил воду из водопроводной трубы. А кроме милиционера вокруг не было ни души.

— Эй! — крикнул капитан. — Прими конец!

Милиционер оглянулся — это была женщина. Она, видно, искупалась только что: волосы были мокрые, а на груди, на синей форменной рубашке, проступили два мокрых круглых пятна. Она затянула на поясе широкий ремень с кобурой и, расчесывая волосы, не спеша подошла к воде. В жизни я не видел такого красивого милиционера!

— Ты швартовый возьмешь? — Капитан растерянно смотрел на нее.

— Угу, — невнятно проговорила она, во рту у нее были шпильки.

Женщина поймала на лету носовой швартовый и зацепила его за чугунную тумбу на кунгасе, а потом зацепила второй швартовый, который ей подали с кормы, выпрямилась и, укладывая волосы, уставилась на нашего капитана. Она смотрела на него так пристально, что мы все тоже стали смотреть на капитана, соображая, что она в нем такое увидела...

— Не узнаешь? — спросила она.

— Нет, — сказал капитан.

— А ты капитан, что ль?

— Ага.

— Зверя бьешь?
— Ну.
— «Ну», «ага»... Ты разговаривать умеешь?
— Разучился,— засмеялся капитан.— Полгода на берегу не был.

— Столбняк? — усмехнулась она.
Матросы на палубе прямо покатались со смеху.
— Трап! — ошалело кричал капитан.— Где трап? Боцман! Где боцман?

— Давай руку,— сказала она,— я и так залезу.
Капитан сбежал на палубу, она протянула ему руку, он нагнулся, подхватил ее под мышки и задержал на руках, словно ребенка.

— Пусти, а то вдарю,— сказала она.
— Не ударишь,— сказал капитан, но отпустил ее.
— Чего скалишься? — обратилась она к боцману.— «Грудь» бы застегнул, срамник...

Пальцы боцмана прошлись сверху вниз по ширинке, словно по пуговицам баяна, и лицо его стало растерянным.

— Вот это так... чтобы...— начал он.
— В каюту! — заорал капитан.— Чтоб вид имел! Моряк ты или прачка?

Боцман, спотыкаясь на шлангах, побрел в каюту.
— Совсем вы без женщин распустились...— сказала паша гостя и, улыбаясь, медленно обвела нас всех взглядом.— Ни одной ведь нет?

— Ни одной,— ответил капитан и оглянулся:— Повара ко мне!

Повар, маленький плешивый человечек со скучным и презрительным выражением на белом лице, подошел и остановился возле капитана, глядя в сторону.

— Пельмени — чтоб в пять минут были..

— Скажете тоже,— недовольно ответил повар.— Это ж тесто надо, это ж мясо...

— Тесто у тебя есть! — вскипел капитан.— Сам видел: бражку варишь!

— Это ж мясо...

— А медвежати́на? Будешь есть медвежати́ну? — обратился он к женщине.

Та только усмехнулась.

— Все будут веселиться, а мне пельмени делай,— промямлил повар. Он все еще топтался возле них.

— Сейчас воду возьмем и обратно...

— Знаю я ваше «сейчас».

— Тебе что сказано? Веселиться! Хватит с тебя, повеселился на прошлой стоянке...

— Я сейчас напишу заявление об уходе,— уныло сказал повар.

— Пиши — только после пельменей,— засмеялся капитан. И повернулся к нам:— Отпускаю на берег, выдам всем по пятерке... Чтоб через час обратно!

Мы взвыли от восторга.

— Ты куда? — бросился за мной вахтенный помощник Степаныч.— А вахта? А кто воду будет брать?

— Пошел ты,— ответил я,— у тебя жена есть и пятеро детей, а я холостой, мне сам бог велел...

— Рапорт напишу! — кричал он мне вслед.

2

Через порт — от конторы до столовой — были набросаны доски для перехода, покрытые засохшим гусиным пометом, а водопроводные трубы лежали прямо на песке, а возле цистерн валялся громадный скелет кашалота. Порт был

огражден от дюн большими фанерными щитами, в дюнах пролегал узкоколейка. Сам поселок Москальво находился милях в трех от порта, туда ходила дрезина, и наши ребята успели уехать, только трое остались: Колька Помогает — четвертый штурман, боцман Саня и еще Гена Дюжиков, то есть я. Боцман взял с собой фотоаппарат «Любитель» с самодельным штативом в виде трех здоровенных колеб — он был заядлым фотолюбителем.

На стене столовой висел облупленный громадный почтовый ящик с гербом, и я вознамерился было бросить в него пачку писем, которые мне передали на судне, как вдруг отворилось окно и пожилая тетка, навалившись грудью на подоконник, крикнула:

— Ты в этот ящик не бросай, — он уже два года недействующих.

— Ты что, тетка? — не поверил я.

— А ничего. Почта в поселке, а ящик этот давно пора столкнуть.

— Тут, может, за два года писем накопилось с целый миллион, — сказал я.

— Столкнем, тогда разберемся, — засмеялась она.

— Когда дрезина вернется? — спросил Колька.

— А бог ее знает. Уже четыре. Пока поужинают, да еще магазин там открытый... Считай, к восьми тут будут.

— А магазин до скольких работает?

— До восьми.

— Успеем, — сказал я. — Если пехотой идти, как раз за полтора часика дотопаем.

— Пожрать это... — предложил боцман. — Столовка ж тут...

— Столовка не работает, — отрезала тетка. Она не сводила глаз с боцманского фотоаппарата.

— А сучок есть в поселке? — спросил Колька.

— Сучок бабы наши распили, а спирт должен быть.

— Так,— сказал я, прикидывая.— Спирт у них шесть рублей бутылка. А у нас полтора червонца на троих... Должно хватить.

— А вы кто будете? — спросила тетка.— Может с Холмска, насчет нефть, или как? Бороды у вас такие и ящик этот, смотрю...

— Какой еще нефть... Моряки мы,— ответил я.— А это тебе не ящик, а фотоаппарат.

— Фотоаппарат? — удивилась она.— Что-то я впервые такой вижу.

— А это заграничный. Для журналов снимают.

— Сними-ка меня для журнала,— оживилась тетка.

— А ты зубы вставь. Без зубов мы не снимаем.

— Зачем их вставлять? Мужик придет с промысла, снова выбьет...

Мы засмеялись.

— За что? — спросил я.

— А ревнует!

— Это тебя-то, бабушка? — ухмыльнулся я.

— Какая я тебе бабушка, красивый ты мой? — ответила она весело.— Если драку начнем, не устоять тебе против меня...

— Ладно, бабуся! — обиделся я.

Она перелезла через подоконник и подошла к нам.

— Снимай, и все тут,— сказала она боцману и поправила гребень в волосах.

— Давай, Саня! — поддержал ее Колька.— Мы в кашалота залезем, а ты щелкнешь всех вместе.

— Кадра — порядок,— согласился Саня.

Челюсти кашалота были разведены до отказа. Мы вошли в него через пасть и разместились внутри, как у бога за пазухой. Саня суетился, устанавливая аппарат на пес-

ке, потом он присоединился к нам, и, сделав серьезные рожи, мы уставились в объектив. Но тут треноги стали расползаться, фотоаппарат «поехал» вниз...

— Нагибайся это... одна кадра! — закричал Саня таким голосом, словно его резали.

Мы стали приседать, стараясь держать рожи на уровне объектива, а боцман стоял впереди всех, и тут что-то просвистело вверх — и боцман, как подрубленный, рухнул на песок... Это неожиданно упала верхняя челюсть кашалота и ударила Саню по спине.

— Сильно ушибло? — засуетилась тетка, помогая боцману подняться. — Ты погоди уходить, а то вдруг не получилась фотокарточка? — говорила она, крепко прижимая боцмана к себе. Саня попробовал высвободиться, но у него ничего не получилось, и он с надеждой посмотрел в нашу сторону.

— Спокойно, бабуся! — вмешался я. — Будет тебе фотокарточка, прямо для журнала... Вы, бабуся, этого зверя сдайте в утиль или в море выбросьте: если б по голове ударил, хоронили б боцмана — это я вам дружески говорю...

— Не приведи господь! — испугалась она. — Это он с голоду сомлел... Ты сходи-ка, красивый мой, поймай парочку гусей. Там вон, во дворе... Я вам сейчас такой ужин приготовлю...

— А не влетит от кого? — засомневался я.

— Что ты! У нас народ хороший. А если что, скажешь — Дуся разрешила...

Я притащил пару здоровенных гусей, тетка принялась за стряпню, а мы возобновили прерванное совещание.

— В общем, обстановка такая, — сказал я. — Вы эту бабу-милиционера видели?.. Черт с револьвером! Считаю, что капитану теперь будет не до нас, верно? Гуляй себе хоть до утра...

— Это правда, — согласился Саня, улыбаясь. Он уже приходил в себя.

— И вот что я предлагаю, — продолжал я. — Пока тетка обед сделает, надо сбрить бороды. Ну их к дьяволу! На судно заскочим — и назад.

— Сын это... я обещал... — заколебался Саня.

— Пока сына увидишь, у тебя новая вырастет. А то нас и за моряков не принимают!

Когда мы на обратной дороге заглянули в столовую, там нас ожидал прямо царский ужин. Но тетка вдруг принялась выталкивать нас из столовой.

— Не работает, — говорила тетка, — не работает столовка...

— Как же так, Дуся? — возмутился я, с трудом удерживаясь за дверной косяк. — Кадр для журнала... Можно сказать, рискуя жизнью...

Тетка отпустила меня и всплеснула руками.

— Господи! — захохотала она. — Дура я какая... Это ж вы бороды срезали! Я ж совсем вас не узнала, красивые вы мои!

3

Узкоколейка сворачивала в сторону от прямой дороги — тускло блеснули на повороте накалившиеся рельсы. Мы спрыгнули с насыпи и теперь брели к поселку напрямик по зыбучему песку, увязая по отвороты сапог. Впереди были дюны — результат необузданной игры ветра, которому здесь ничто не могло помешать. Сейчас, слава богу, его не было, ни один микроб не шевелился в воздухе, только песок был как живой — он скользил под ногами и дышал так горячо, что обжигал лицо и руки. Порывы ветра, видно,

достигали здесь ураганной силы, потому что в некоторых местах он выдувал песок на многометровую глубину, и там, внизу, под нашими ногами теперь хлюпала болотная грязь, пахнувшая нефтью, зеленел кедровый кустарник и фиолетово цвели «петушки» — в них скрывались от жары орды комаров, которые взлетали сейчас со всех сторон. Одежда у нас промокла насквозь от пота, лица распухли от комариных укусов, ноги стали как деревянные — хоть их руби на дрова, и казалось даже неприличным увидеть где-либо здесь человеческое жилье, как вдруг возникло Москальво — десятка полтора деревянных двухэтажных домов и ни одного дерева. Вскоре мы зашагали по дощатым тротуарам. С карнизов домов гроздьями свисал вяленый лосось, во дворах дымили костры — так здесь спасались от комаров, в их свете смутно угадывались человеческие фигуры.

Магазин уже закрывали, но мы успели взять свое.

У дровяного склада толпились наши зверобои, а на главной улице, в сотне шагов от них, наблюдалось оживленное женское гуляние, но наши ребята были так заняты разговорами, что не обращали на женщин никакого внимания. И тогда я сказал боцману и Кольке:

— Ну его к черту, чтоб я торчал у этого места! Мне нужно общество, телевизор и чтоб хорошая девчонка обнимала до утра!

Саня засмеялся, а Колька Помогаев нахмурился и стал хлопать руками по карманам — у него была привычка такая, когда он сильно волновался. И я понял его. Когда я на Кольку смотрел, мне самому тошно становилось. Я с ним ходил на одном боте, он был одно время старшиной бота, и мы недавно в такую переделку попали, что нас самолеты и спасатели искали целых пять суток. План полетел из-за этого, команда осталась без денег, а Кольку в

газетах героем сделали. А он хотел сказать ребятам, как он виноват, чтоб они простили его, он прямо места себе не находит из-за этого... Но я решил сейчас не отпускать его от себя, хотя, по правде говоря, для веселья он не очень подходил сегодня.

— Ну так что, Колька? — спросил я. — Поищем?

— А как ты их найдешь?

— Вы только стойте здесь, не уходите, — усмехнулся я, — да смотрите не уроните бутылки...

Я выбежал на главную улицу. Толпа гуляющих обтекала меня со всех сторон — только успевай поворачиваться, — и я пялил глаза на каждую встречную девчонку, чтоб не упустить из вида самую лучшую из них. У меня было такое чувство, что я такую девчонку не упущу.

И вдруг я увидел одну хорошенькую девчущку рядом с собой и расставил руки, чтоб ее поймать, но девчущка выскользнула из моих рук и спряталась за спиной подружки. Подруга тоже была ничего, но не в моем вкусе, и тут моя девчущка бросилась бежать по улице, но я решил поймать ее обязательно. Она бежала и все оглядывалась — когда же я догоню ее, мы целую свалку устроили на тротуаре, и два милиционера, подобрав юбки, уже направлялись в нашу сторону, но тут я схватил ее...

Она была худенькая, юная, совсем девочка. Смуглое ее лицо с выпуклым лбом, густые выгоревшие на солнце волосы, нежный свежий рот и раскосые глаза — все это было лучше, чем надо, а кожа в разрезе платья у нее, на груди и спине, облупилась от загара. Она уперлась кулачками мне в подбородок, и я почувствовал через рубашку, как напряглась ее маленькая твердая грудь, бусы светились у нее на шее... И так мы стояли и рассматривали друг друга, а потом ни с того ни с сего принялись хохотать. Мы развеселились не на шутку.

— Дурак ты,— сказала она и больно наступила мне на ногу.— Ну, чего ты кинулся за мной как помешанный?

— Ты сегодня была на кунгасе? — спросил я и отпустил ее.

— Ну, была! Тебе-то что? — Онаправила платье.

— Я тебя в бинокль увидел,— сказал я. — У тебя родинка на этом месте, верно?

— А ну тебя! — захохотала она, и такое у нее было веселое милое лицо, что я тоже засмеялся: я прямо влюбился в нее с первого взгляда.

— Ты меня подожди тут,— попросил я. — Я сейчас еще двоих приведу, ладно?

— Эх, вы! — сказала она. — Наши молодайки вокруг ходят, а вам хоть бы что, и на танцы никто не пришел...

— Значит, подождешь?

— А чего там, — усмехнулась она. — Только не безобразничайте.

Я чуть не закричал от радости и сказал ей, чувствуя себя последним идиотом:

— Да мы что? — сказал я. — Полгода берега не видели, вот какое дело...

4

Мы очутились в небольшой комнате, оклеенной зелеными обоями. Дверь в другую комнату была закрыта, там спал сынишка хозяйки, а сама хозяйка и подруга моей девчухи хлопотали на кухне.

Боцман Саня ходил по комнате, строго и важно постукивал заскорузлым пальцем по обшивке дивана, по радиоприемнику, щупал скатерть и занавески, двигал стол — у него был вид человека, который пришел к себе домой, но увидел незнакомые вещи, которые тут без него накупили,

а Колька, не выпуская из рук бутылки и уставясь взглядом в неровный крашенный пол, думал свое, но я надеялся, что все должно наладиться: стоит только пережить это время до выпивки, а там развяжутся языки и все пойдет, как по маслу.

Девчушка моя не принимала участия в стряпне, забралась на диван и, обернув подолом платья свои крепкие полные ножки, не отрываясь, смотрела на меня, а я смотрел на нее, и мы заговорщически улыбались друг другу, словно между нами была какая-то тайна, о которой никто не догадывался.

Неожиданное подозрение в нереальности происходящего стало мучить меня. «В самом деле,— думал я,— еще утром было море и качка, а совсем недавно — лед, раздавленный бот, коптящая тюленья шкура, холод, и один паренек со страху хотел застрелиться из винтовки. И вот на тебе — жара, твердая земля, девчушка и эта комната...» Я смотрел на ребят, но их изменившиеся, бритые, чужие лица ничего не говорили мне, и хотелось ущипнуть себя, чтоб поверить, что все это происходит на самом деле...

И вот накрыли стол, и мы уселись вокруг него — каждый рядом со своей дамой — и начали тянуть спирт, а дамы не отставали, и языки у нас развязались.

Боцман Саня, беспрестанно хватая рукой голый подбородок, принялся рассказывать хозяйке, что у него во Владивостоке точно такая же квартира и что мебели хорошей не достать нигде, потому что сейчас такую мебель делают — чего доброго, развалится под тобой, что жена его похожа на хозяйку, они, видно, ровесницы, что у сына круглые пятерки по арифметике. Хозяйка, повернув к нему свое полное, красивое, равнодушное лицо, молча разглядывала его, и бог знает, что у нее было на уме. Я налегал на еду, успевая вовремя вставить в разговор какой-

нибудь пошлый анекдотик, а Колька Помогаев хлопал себя по карманам, повторяя: «Я им сейчас расскажу, расскажу!» — и порывался к двери, но подруга моей девчужки, улыбаясь, дергала его сзади и усаживала на место.

И тут сынишка хозяйки приоткрыл дверь. Он сидел на горшке — худенький мальчик с большой головой, — и ему, видно, скучно было сидеть одному, он хотел обозревать собравшееся общество и робко поглядывал на мать и на всех нас, выпрашивая позволения, и боцман вдруг бросился к нему, подхватил его вместе с горшком и стал носить по комнате и подпрыгивать, а мальчик смеялся и крепко держал боцмана за нос, чтоб не потерять равновесия, и тут хозяйка не вытерпела, поднялась и, улыбаясь, показала нам на дверь:

— Знаете что? — сказала она. — Катитесь вы к черту отсюда!

Мы уже спускались по лестнице, когда сверху раздались шаги — это девчужка бежала ко мне, — и, вылетев в полосу лунного света, который падал в подъезд через улицу, остановилась с разбегу, словно наткнулась на что-то, и проговорила, задыхаясь:

— Не уходи... Генка!

И тогда Колька и боцман Саня взяли меня за руки и посмотрели мне в глаза так, что я застеснялся вдруг чего-то, совсем обалдел и не знал, что ей ответить. Ребята вели меня по тротуару, а я все оглядывался на нее. Она стояла на лестнице и казалась очень маленькой в громадной и пустой раме подъезда, и не по себе мне вдруг стало чего-то.

«Ладно, — думал я, — у боцмана есть семья, сын, квартира, у Кольки — хоть невезуха с ботом, а у тебя что? Зачем ты идешь с ними? Такая девчужка! Дело не в том, что у нее там под платьем, — у нее, может, кроме тебя, и

не было б никого больше... Что тебе надо еще? Что?» — думал я и не находил ответа.

У дровяного склада человек двадцать наших ребят и примерно столько же поселковых женщин играли в какую-то странную игру. Их бороды и белые зубы, неуклюжие голоса и фигуры, женский хохот и визг, длинные волосы и яркие платья — все выглядело нелепо и странно возле пустых сараев на песчаном дворе, под луной.

Ребята увидели нас, оставили женщин и бросились навстречу, а мы побежали к ним, ухватились друг за друга и прямо сдурели от неожиданной радости. Колька Помогаев закричал: «Я вам сейчас все расскажу!» — и вытащил бутылку. Спирта в ней осталось на четверть. Мы разлили его на двадцать три человека, и Колька в конце концов рассказал о том, что его мучило. Все засмеялись и закричали: «Ну и Колька!» А потом боцман вспомнил, как мы фотографировались в пасти кашалота, и тут поднялось невообразимое, я думал, сараи сейчас взорвутся от хохота! А вслед за боцманом я сморозил насчет армянина, который разъезжал на дамском велосипеде, а плотник приплел историю, как он праздновал свадьбу у одного приятеля. Говорили кто что хотел, кому что взбредет в голову, — мы полгода не собирались все вместе на земле...

Мы шли обратно в порт через безлюдный поселок Москальво. В тишине под нашими шагами стучали доски, окна домов отражали наши фигуры, во дворах вяло дымились костры, воздух колебался от комаров, а потом заблестела впереди узкоколейка и пропал поселок, будто его и не было вовсе. Мы шли к порту до самого утра: валялись на траве, рвали «петушки» и стланик и хлестали друг друга, чуть было драку не затеяли, а плотник насмешил всех: упал на шпалы, пополз между рельсов и закричал: «Братцы, никогда не видел такого длинного шторм-трапа!» А уже

у самых цистерн, когда мы штурмовали фанерные щиты, Колька, который по дороге отстал от нас, вдруг закричал на полном серьезе: «Ребята! Не оставляйте меня одного!..»

Возле конторы женщина-милиционер пила воду. Она даже не посмотрела в нашу сторону — так ее жажда мучила, а на палубе расхаживали три гуся — видно, наша тетка их сюда принесла, а вахтенный помощник Степаныч стоял на мостике и внимательно разглядывал нас в бинокль.

Степаныч оторвался от бинокля и спросил у меня:

— Ну как?

— Свистни, Степаныч! — сказал я.

— Как — свистни? — не понял Степаныч. — Зачем?

— Чтоб в поселке услышали, — объяснил я.

И тут на причале появилась наша тетка, она пришла нас провожать, и гуся, заведя тетку, шарахнулись к ней, только пух повис в воздухе, а я закричал:

— Дуся! Не хотят в море твои гуся!

Вся команда прямо животы надорвала от смеху, и тетка тоже смеялась: двух передних зубов у нее не хватало во рту — такая хорошая тетка, ей-богу!

К полудню мы взяли воду и отдали швартовы.



З веробойная шхуна «Оленница» стояла на якорь возле острова Недоразумения. Со шхуны был виден рыбокомбинат, искаженный дождем, далеко растянувшийся по берегу. Были видны длинные лабазы, бараки для сезонников, деревянная электростанция и транспортеры, клуб, магазин, почта и баня.

Рыбокомбинат готовили к приему селедки: удлиняли пирсы для швартовки рыболовных судов, прокладывали кабель, таскали мешки с солью и бочкотару, всячую всячину. В магазине продавали литровые банки сухого молока и тяжелые хлебы местной выпечки, в клубе после кино молоденькие рабочие-строители с юбилейными медалями на груди (они приехали сюда из Магадана строить маяк) организовывали танцы под радиолу.

С рыбокомбината неслись гортанные крики корейцев, разгружавших плашкоуты, орал репродуктор на почте, простуженными голосами перекликались работницы, сгребавшие щецу и мусор по всей территории, воняло тухлой прошлогодней селедкой и горько несло созревшей горной ольхой, и хлебом, и повыми бочками.

А на шхуне были свои запахи, своя работа.

Утром матросы надевали поверх робы просторные штаны и куртки из желтой клеенки и выходили на скользкую жирную палубу. На палубе пластами лежала хоровина — тюленьи шкуры с салом. Начальник жирцеха спускался к себе в отсек и включал перегонную установку, а матросы молча докуривали папироски и, не глядя друг на друга, расходились по местам. На носу тарахтела мездрилка, к ней подтаскивали шкуры лебедкой. Матрос-мездрильщик брал тяжелую грязную кожу с двухдюймовым слоем желтого вонючего сала и бросал ее в широкую пасть машины, между вертящимися валами. Он нажимал ногой на педаль, валы смыкались, вгрызаясь в сало, горячий жир дымил и пенился, сбегая по желобу в танки; мездрильщик ворочал кожу, а потом вытаскивал ее — легкую и тянущуюся, как резина, с рубчатым следом машины на внутренней стороне — и бросал подсобнику. Подсобник клал кожу на навою — наклонный деревянный стол — и отжимал мездрильным ножом. Шкуры потом мыли, солили и укладывали в бочки. Визжала дрель, пробивая отдушины в обручах, бочки пломбировали, к ним прикладывали трафареты, а на трафаретах были названия норвежских и японских фирм.

Ночью матросы снимали с себя душно пахнущие костюмы, вытряхивали желтую соль из сапог и валялись на койки как убитые. Но вот наступала суббота, матросы садились в бот, и ехали на берег, и медленно поднимались по голой раскисшей дороге к бане.

Баня была невысокая, срубленная из тонких бревен. Она была черной внутри от дыма, у набухшего лоснящегося потолка блестел фонарь, бросал слабый свет по обе стороны дощатой перегородки, разделявшей мужскую и женскую половины.

Матросы развешивали на крюках одежду и гремели тазами, зачерпывая в чугунном чане кипяток, тесно сбились на лавке, прилипая ягодицами к ее сухой и горячей поверхности, перебрасывались негромкими фразами, а за перегородкой молча раздевались работницы вечерней смены, но ни матросы, ни работницы еще как бы не осознавали взаимного присутствия: им надо было забыть этот проклятый дождь, жир, мусор, мокрую одежду... Люди томились в ожидании пьянящей радости, и она медленно возникала под шумные вздохи пара и шипенье камней, под гул льющейся воды; спины разгибались, крепили голоса, работницы кричали: «Поддай пару, мужики!» — и исступленно хлестали себя ольховыми вениками, оставлявшими на теле мелкие зерна, и бросали мокрые веники матросам в узкую щель под потолком, матросы хлестали себя, и веники летели обратно; пол ходил ходуном, тряслась перегородка, звенел фонарь от крика, в воздухе был запах здоровых свежих тел, смешивались дыхания, сливались голоса, матросы и работницы становились на скамейки по обе стороны перегородки, вели разговоры.

Все это походило на странную и смешную игру: матросы и работницы не видели друг друга, и после бани они некоторое время стояли на освещенной улице, и каждый из них решал про себя хитрый вопрос: кто из них он? Кто она? — и расходились, не сказав друг другу больше ни слова. А в следующую субботу все повторялось сначала.

— Любка,— говорил маленький Колька Помогаев ра-

ботнице и, чтоб дотянуться до нее, становился на пыпочки,— опять мусором занималась?

— Теперь на разгрузке буду работать,— отвечала она грудным голосом.— А у тебя все жир?

— Жир,— говорил Колька, вздыхая,— жир, мать его в доски.

— Большие рубли выгоняешь?

— Рубли, рубли...

— Много еще осталось?

— На неделю от силы, а там на промысел пойдем, на Шантарские острова.

— А что,— спрашивала сна,— видно, есть у тебя какая девка во Владивостоке?

— Не везет мне с вами! — признавался Колька.— Подхода не имею.

— Не понимают твои знакомые ничего в мужиках,— отвечала она.— Тебе ж, как мужику, цены нет...

— Откуда ты знаешь? — дивился он.— Прямо хоть стой, хоть падай!

— Я-то? — смеялась Любка.— Научилась, слава богу...

— Я вообще отчаянный,— соглашался он.— Я всякую глупость могу сделать.

— Ну, иди сюда,— говорила она и касалась его лица шершавой распаренной ладонью, а он дотягивался до ее мокрых плеч. Любка не отстранялась, только плотнее придвигалась к перегородке.— Не боишься меня?

— Ну, что ты!

— Так мужика хочу,— признавалась она,— прямо места себе не нахожу... А все они не по мне, пресные какие-то... Вот бы такого, как ты, полюбить!

— Во говорит! — смеялся Колька.— А не врешь? — Ему прямо удивительно было слышать такое.

— А с чего мне врать? С чего?

И верно, врать было нечего: ведь это была такая игра... Она рассказала, что приехала сюда из Краснодара, что ей хочется найти человека незанятого, смиренного и чистоплотного, рожать хочется и никуда не ездить, а тут еще этот дождь и мусор, быстрее б работа пошла настоящая, не то авансы не отработаешь, честное слово... А Колька ей о своем: как все лето во льдах зверя стреляли, как он хочет на берегу устроиться, море ему надоело, но никак не может бросить его. В городе у него квартира, но туда только к зиме попадает, а этот жир он просто ненавидит — не морская это работа, да и место тут гнилое, неподходящее, и выпить некогда...

— Квартира у тебя хорошая? — спрашивала она.

— Две комнаты, душ горячий...

— Жениться тебе надо, Николай, — убеждала его она. — Ты не робей, за тебя любая с радостью пойдет!

— Сына хочется получить, — признавался он.

— Бери меня, — хохотала Любка, — я тебе сколько хочешь нарожаю!

— Ладно, согласен, — отвечал Колька серьезно.

А через неделю она спросила:

— Уходишь?

— Завтра к вечеру снимемся.

— Придешь к понтону?

— Принято.

— А не обманешь?

— Вот тебе морское слово...

На следующий день они закончили к обеду работу, капитан выдал команде «отходные», и было пиршество, а про работниц забыли. Проснулся Колька уже в море.

Он вышел на палубу и, с трудом удерживая голову, смотрел на высокий берег, который зеленой полосой тянулся слева, на обвисшие грязные паруса, которые повеси-

ли на просушку, на вонючую мездрилку и шмотья сала, зацепившиеся за ванты,— пусто и холодно было у Кольки на душе.

«Надо бросать эту работу!» — неожиданно пришло ему в голову, и он поднялся в рубку.

— Куда мы плетемся? — недовольно спросил он у рулевого.

— В Магадан.

— А зачем?

— Шкуры выкинем, жир выльем в танкер...

— А дальше чего?

Рулевой удивленно посмотрел на него.

— На Шантары, — ответил он, — зверя бить... Ты что, не выспался?

— И опять жир?

— А то чего ж?!

— А ты все руль крутишь? — спрашивал Колька, и все ему не по душе было сегодня.

— Отвяжись, — сказал рулевой.

Колька отвернулся от него, вытащил из кармана мятую папироску и с отвращением закурил.

«Бросать, бросать эту работу! — думал он. — Что ж получается: договаривался с ней насчет вечера, и вот на тебе... Знал бы фамилию, черкнул из Магадана, а так что? Чего мне в Магадане? Нечего мне там делать».

— Плюнь ты на это дело, — сказал он себе. — Плюнь и разотри.

— На какое дело? — поинтересовался рулевой.

— Так вся жизнь пройдет, — рассуждал Колька. — Если тебя здесь ждет невеста с цветами, то зачем тогда Магадан, верно говорю?

Он пошел в столовую, где на дерматиновых диванах храпели ребята, и стал толкать своего дружка Генку Дю-

жикова. Генка не открывал глаз и лягался, и Колька сказал ему:

— Чего ж ты меня не разбудил? Я, может, с бабой не успел проститься...

— Какой бабой?

— Из бани... Ух, и врезалась она в меня!

— Врежу я тебе сейчас! — пообещал Генка.

— Эх! — сказал Колька. — А ведь я человек свободный...

Он вытащил из шкафа полбуханки хлеба, порезал на куски и рассовал по карманам, а потом зашел в каюту, прихватил полушубок и ракету и снова поднялся на мостик.

На мостике лежала перевернутая лодка-ледянка. Колька вытащил из-под нее фал и, напрягшись изо всех сил, опустил ее за борт. Ледянку мотало в кильватерной струе. Колька закрепил фал наверху, спустился по нему в лодку и обрезал его ножом. Он сидел в лодке, широко расставив ноги, и видел мощную круглую корму шхуны с облупившимися буквами названия — шхуна уходила от него. Потом достал хлеб и стал жевать его. Хлеб был вкусный на воздухе, и Колька быстро освободил карманы, а крошки вытряхнул за борт.

— Поплыли, — сказал он себе и взялся за весла.

Он греб минут сорок, не переставая, и увидел мыс Островной, который выходил на траверз его лодки, и мысленно прикинул, сколько еще грести. «К ночи доберусь», — подумал он и посмотрел прямо перед собой — шхуна уже перевалила горизонт. Колька представил, какой там поднимется переполох, когда хватятся его и ледянки, и рассмеялся. Спишет с судна, решил он.

— Зачем мне Магадан, если меня ждут на острове Недоразумения? — развеселился он и расстегнул полушубок.

бок. Солнце лилось ему на лицо и руки, и с довольным видом он смотрел прямо перед собой.

Темнело, и уже трудно было различить весло в воде. К берегу полетели бакланы, важно неся свои толстые длинные клювы,— казалось, бакланы во рту держат сигары. Он помахал им шапкой, птицы вернулись и сделали над лодкой круг. Колька засмеялся.

— Дурни,— сказал он.— Что мне до вас?

Хмель выходил из головы, и он понимал теперь, что сделал глупость: из-за женщины, которую в глаза-то не видел, бросил ребят и смылся; его будут искать, промысел задержится, никто этого не простит... Но вспоминал свою вонючую работу, дождь, мездрилку и Любкины слова и рассуждал так: конечно, нехорошо, что из-за нее... А если толком разобраться — работа ему надоела, хочется хоть раз поваляться летом на пляже, а Люба тут ни при чем. А может, и при чем? Женой будет, поедут в город, будут греться на пляже, сколько влезет. И сын у него получит... Ради такого дела он может целое судно увести, не то что ледянку!

Он греб рывками, а берег справа уже расплывался в сумерках, а потом и вовсе исчез. И тут свежо дунуло в Колькино лицо. Это был только мимолетный порыв ветра, но Колька насторожился, застегнул полушубок и обтянул лодку с носа до кормы брезентом. Наступила глубокая тишина, казалось, сам воздух остановился, заблестело небо, и внезапно издалека послышался рев наката и свист опережавшего накат ветра. Колька изо всех сил заработал веслами, но грести стало неловко, весла проваливались и брызгали, и он видел, как наискось пошел на лодку первый вал. А потом все пропало, потому что лодка начала съезжать вниз, в глубокий развал между волнами, в ушах заболело от сжатого воздуха, белый катящийся гребень

взвился над головой, и Колька поставил ледянку против волны. Вода обрушилась на Кольку и повалила его, а лодка дергалась под ним, словно рыба, которую проткнули острой иглой. Колька подхватился, цепляясь за скользкие ручки весел, снова выравнивал лодку и поспешно стал грести, видя, как катится на него, вспучиваясь, второй вал. Он успел отвернуть... Вал прошел стороной, а лодка понеслась, словно дельфин, выскакивая из воды. Колька пощупал за пазухой ракету.

— Нет,— сказал он,— не возьмешь ты меня с первого раза!

Третий вал выпрыгнул слишком далеко и не достал до него, а четвертый — слишком близко и не набрал скорости, а пятый ударил в самый раз и выбросил Кольку за борт, только чудом не перевернув лодку. Колька плавал за бортом, ухватившись за кусок фала, а потом забрался в лодку и снова пощупал ракету. Сбросив с кормы плавучий якорь, — якорь удерживал лодку против волны — он стал вычерпывать воду, которой много налилось под брезент. Он поднимал голову и видел невысокое небо и воду, озаренную звездным светом, а по носу был створ бухты и жидкие огни рыбокомбината. Мимо него, вижимая все обороты, пропыхтел рейсовый пароходик с освещенными иллюминаторами у самой воды. Колька видел, как в каюте женщина гладила белье...

Колька хотел было выпустить ракету, чтоб пароход подобрал его, но потом раздумал — ему было жалко тратить ракету ради такого дела.

— Доберешься сам... — сказал он себе.

Испуг у Кольки давно прошел, ему вдруг стало весело и даже не верилось, что это он сидит в лодке, — казалось, какой-то другой, сильный и ловкий человек, которому все по плечу. Он дурачился с морем и жадно втягивал ноздря-

ми его крепкий запах, а когда добрался до пирса, ему даже жалко стало, что все уже кончилось.

Он выбрался по скобам наверх. По причалу маленькие корейцы катали пустые бочки. Разбрызгивая лужи, Колька спустился на пароходик и попросил папиросу у милиционера, который конфисковывал контрабандную водку. Потом прыгнул с кормы пароходика на качающийся понтон и увидел Любку. Она считала бочки и записывала что-то в непромокаемую тетрадь.

«Ну и девка! — подумал Колька, с удовольствием разглядывая ее здоровое молодое лицо, розовое в свете кормового фонаря. — Это ж надо так влюбиться в меня!» — потрясенно думал он и стал возле нее, по привычке поднимаясь на цыпочки, чтоб сравняться с ней ростом.

— Здравствуй, — сказал Колька.

— Будь здоров, — ответила она, не глядя на него.

— Вот ведь как увиделись... — продолжал Колька, улыбаясь.

— Кальпус! — закричала она кому-то вверх. — Ты на обруч гляди — если широкий, значит, двухсотки...

— Чуть догребся сюда, — говорил Колька. — Волна выше сельсовета...

— Не болтай под руку! — огрызнулась она. — Так... Триста десять, триста десять... Опять сбилась...

И недовольно посмотрела на него:

— Ну, что тебе?

— Ребята привет передавали, — растерялся Колька.

— Какой еще привет?

— Со шхуны. В бане вместе мылись...

— А-а! — засмеялась она. — А ты со шхуны? Так вы ж ушли...

— Ребята меня послали, — бубнил Колька свое.

— Чего ж этот не пришел: ну, высокий такой, горбопосый, с усиками?

— Генка, что ль?

— А говорил — Колей звать, жениться обещал, — засмеялась она.

— Он парень хороший, — говорил Колька, он прямо обалдел от всего этого. — Вот тебе подарок от него, — и вытащил из-за пазухи ракету.

— А что с ней делать?

— К примеру, если за кольцо дернуть, сразу светло станет...

— Лучше б банку икры передал — страсть как икры хочется! — сказала она и сунула ракету в карман мокрой телогрейки. — Скажи, дождь этот кончится когда?

— Да отсюда в двух шагах солнце жарит! — усмехнулся Колька. — Я, пока греб, прямо сгорел весь.

— Оно и видно! — засмеялась она.

— Правду говорю.

— Точно как твой дружок... Слушай, а голос твой мне где-то знакомый!

— Поехали к нам? — сказал он. — Генка просил... — И он представил вдруг, как озарили бы звезды ее лицо, и задрожал весь.

— Разве ты доведешь? — Она осмотрела его с ног до головы. — Пропадешь с тобой...

— Любка! — закричал Кальпус. — Иди сама, а то я никак в голову не возьму!

— На, передай Генке от меня, — сказала Любка и протянула букетик ромашек. — Насобирала в тайге, думала, что придет... — И, не отпуская Колькиной руки, захохотала вдруг.

— Ты чего? — перепугался он.

— Смешное подумала... — ответила она и добавила ти-

хо, глядя внимательно на него: — А голос твой мне точно знакомый...

На пароходике милиционер спросил у него:

— Ты где так вымок?

— В воду упал, — ответил Колька.

— А ну-ка дыхни! — предложил милиционер.

Колька дыхнул и взял у него еще одну папиросу.

«Генка, — думал он, залезая в лодку. — Опять поперек дороги стал... Прошлым сезоном чуть было не женился, а он взял да и отбил, и сейчас вот... Чистое недоразумение. Черта ему, а не ромашки. Мои это ромашки!»

И он сунул букетик за пазуху, где до этого лежала ракета.

— Ну что, поплыли? — спросил он у лодки и погладил ее мокрый пластиковый бок. Он вспомнил, как добирался сюда, и представил, как он будет добираться обратно, — может, до самого Магадана, если ребята не повернут за ним, — и ощутил жуткое волнение. — Сейчас мы зададим морю копоти! — говорил он с детской радостью в голосе. — Нам его бояться нечего!



Мы стреляли тюленя всю ночь: я, Генка Дюжиков и Степаныч — еще не старый, но больной человек. Луне было пятнадцать суток, и лед от нее был голубой, а прогретая за день вода светилась так сильно, что, если ударить по ней веслом, в воздух взлетали, казалось, целые куски огня. К утру лед пустил испарину, и зверь ничего не видел с расстояния в десять шагов, но тут у нас кончились патроны.

Мы уже собирались возвращаться на судно, как вдруг увидели тюленя.

Тюлень лежал на льдине, положив на лапы узкую голову. Он казался в тумане очень большим.

— Эй, отдай шкуру! — крикнул ему Генка.

Тюлень поднял голову и отполз дальше от воды — он не видел пас.

— Дай патрон! — взмолился Генка.

Я ковырнул сапогом грудку стреляных гильз, — может, случайно остался один патрон? — но патрона не оказалось. Степаныч грел поясницу у горячей трубы на корме и молчал — его мучил радикулит, а я сказал Генке:

— Пускай его...

— Нет, для ровного счета надо, — ответил он, вытащил из чехла нож и кивнул Степанычу. Тот подогнал бот к самой льдине, и Генка выпрыгнул на нее.

Тюлень увидел Генку и нырнул в лунку с талой водой, но лунка, наверное, оказалась без выхода, и мне было слышно, как тюлень заметался по ней, поднимая брызги. Генка ухватил его за ласты, выбросил на льдину и придавил сапогом. Это был серок — одномесячный тюлененок. Он хрипел, открывая зубастую собачью пасть, и пытался укунить сапог. Генка наклонился, и тут я увидел, как тюлень приподнял голову и посмотрел, что Генка держит в руке...

Я отвернулся от них, не мог такое смотреть.

Минуту спустя Генка вскочил в бот.

— Ну как? — поинтересовался Степаныч, старшина бота.

— Ушел... — сказал Генка. — Да черт с ним: я как раз вспомнил, что мне на неровные числа больше везет...

— Правильно, — поддакнул ему Степаныч. — Все одно всех не возьмешь...

Мы направились к шхуне и выскочили на нее в тумане так неожиданно, что едва не врезались в борт с полного хода.

На палубе горело электричество. Уборщик делал нож из куска пилы: обрабатывал заготовку на точильном станке,

то и дело погружая ее в ведро с водой. Нож дымился в его руке. Я крикнул ему, уборщик отложил нож и принял конец.

Уборщик был долговязый парень с большой плешивой головой, с коротким сиянием в глазах. У него был такой вид, что, кажется, только руку протяни, как он в нее тотчас рубль положит. На самом деле это был дурной человек. Я как-то видел его на боте: он прямо сатанел, когда брал в руки винтовку... Я бы не позавидовал его жене, но он вроде был холост.

— Остальные еще не вернулись,— сообщил он.

— Вижу,— ответил Генка.

— А вы почему так рано? — поинтересовался уборщик.

— Жирно жить будешь,— ответил ему Генка.— И так сутками в море пропадаем...

Степаныч, кряхтя, перелез на палубу шхуны и включил лебедку. Мы заложили крюк за тросы, подняли бот до уровня планшира шхуны, и я стал выбрасывать шкуры на палубу. В трюме скопилось много тюленьей крови, Генка вывернул пробку, чтоб кровь выливалась; выбросил за борт пустой патронный ящик.

— Ну что, Степаныч? — спросил он.

— Вздремну до обеда, может, спина отойдет,— ответил тот, согнувшись, щупая поясницу.

— Тогда мы вдвоем уйдем...

— Но-но, не вольничать у меня! — разволновался Степаныч.

— Не бойсь, старшина! — захохотал Генка.

Степаныч пошел к себе в каюту, а мы заглянули на камбуз. Повар сидел возле гудящей плиты и крутил транзистор. Это был пожилой человек с вечным ячменем на глазу, с широким, как у топорка, носом.

— Налей со дна пожизне! — крикнул ему Генка. — Хватит джазы ловить...

— Я радиogramму получил, — сообщил повар. Он любовно глядел на Генку и не переставал крутить ручку настройки. — Тебе дочка привет передавала...

— Что мне до нее? — ответил Генка, закуривая.

— Обрюхатил девку, а теперь в кусты? — засмеялся повар.

— Это еще как сказать... Значит, не дашь пожрать?

— Вам не положено, — ответил повар. — Вы свое на бот получаете...

— Пошли на остров! — предложил мне Генка. — Жратву добудем: яйца там, уток набьем...

— Вóлоса добудьте на кисти! — крикнул Степаныч из каюты. — Судно нечем красить к городу.

— Откуда мы его возьмем? — удивился я.

— Кони там ходят, отрежьте с хвоста.

— Ты мне поймай, тогда я отрежу, — ответил Генка.

Он пошел за ружьем, а я открыл сушилку, бросил туда вонючую сырую робу и переоделся в сухое. Одежда моя вылиняла от частых стирок, приятно пахла машинным маслом и была такая горячая, что прямо обжигала кожу. Когда я надел ее, у меня сразу появилось настроение ехать на берег. Тут как раз появился Генка. Он был в бушлате, опоясанный широким охотничьим ремнем. Ружье висело у него за спиной, дулом вниз.

Шхуна стояла на якоре у самой кромки ледового поля. Туман оторвался от воды и повис на высоте топового фонаря, и был четко виден горизонт справа, словно выкруженный льдом, а слева — по чистой воде — хорошо просматривался остров Елизаветы, напоминавший раскинувшуюся женщину.

Мы спустили в воду ледянку — легкую промысловую

лодку из пластика. Я залез в нее, Генка бросил мне сверху веревку, ведро и якорь, а потом прыгнул сам — лодка плавно отыграла на воде. Я вставил в кольца два узких финских весла и погреб по медленно поднимавшемуся и опускавшемуся морю. Небо прояснялось на глазах, туман отволокло в сторону, наше дыхание было хорошо заметно в воздухе, и было пусто вокруг, и вода заблестела.

Стая топорков осторожно опустилась перед носом лодки. Генка вскинул ружье и выстрелил — я услышал свист дробы, струей пролетевшей мимо меня, и притормозил веслом.

— Ты что, сдурел? — сказал я ему.

— Не бойсь, — успокоил меня Генка. — Не задену...

Топорки вынырнули так далеко, что невозможно было поверить, что только что они находились у самого борта лодки, а две птицы бежали по воде, оставляя крыльями широкий след ряби, — топоркам надо разогнаться, чтоб взлететь; а одна птица крутилась на месте, распластав крылья, и я взял ее в воде — теплую, серую, с бесцветными тупыми глазами и двумя желтыми косичками на голове — и бросил Генке. Топорок раскрывал гнутый красный клюв и сучил лапками. Генка выпотрошил его и положил дымящуюся тушку на дно лодки.

Мы набили штук двадцать топорков, пока шли к острову, курили, разговаривали нехотя:

— Слышь, Колька? — говорил Генка.

— Чего?

— Тепло как стало, а?

— Это с берега тянет...

— В городе сейчас жарко небось?

— По радио передали: жара страшная...

— Никак не могу летом отпуск получить, — пожаловался он. — А зимой что его брать? На судне работы все одно

никакой. В кабаке пойдешь или к повару на квартиру: огурчики там, помидорчики и все такое.

— Дочка его как? — спросил я.

— Кто ее только не охмуряет! — засмеялся Генка. Помолчал и добавил гордо: — Зато с плаванья приду — только моя будет!

— Зачем она тебе такая?

— Что ты понимаешь? — возразил он. — Какая ж это баба, если ее никто не домогается?

— Нет уж, я себе такую найду, что ее никто не домогается, — ответил я.

— Разве что будет она страшнее паровоза... — заметил он. — Да и та изменит, в крови это у них...

Остров уже был перед нами — два обрывистых холма, далеко отстоящие от береговой черты. В воздухе чувствовался резкий йодистый запах морских водорослей и запах цветущей ольхи — она росла по берегам речушки, которая бежала среди холмов. Отсюда речушка просматривалась от истока до устья. На берегу не было видно навигационных знаков, только далеко слева, у мыса, горели три красных огня — там находился сторожевой пост. Бухта была не защищена с востока, и сюда в плохую погоду, по-видимому, заходила с моря сильная зыбь. Сейчас море было тихое, только у берега ревел накат — начиналось сильное приливное течение. Я невольно засмотрелся на волны: они рождались у самого берега, чтоб, пройдя несколько метров, умереть. Когда волна отливала, по берегу, казалось, шла тень — так жадно глотал воду песок... Я знал по карте, что здесь проходил район больших глубин, но это сейчас трудно было определить: вода была такая прозрачная в это раннее летнее утро, что песчаное дно, кажется, желтело у самых глаз, а ледянка и весла красиво отражались в воде — до шляпки гвоздя, до последней царапины...

Мы перетащили ледянку через приливную полосу и приткнули ее в стороне, у известковой глыбы. Якорь я швырнул на берег, а Генка вдавил его сапогом в песок.

— Пошли на базар,— сказал он.— Яиц наберем.

— Иди сам, а я тут посижу,— ответил я.

— Чего так?

— Я от глупышей прошлым разом до самого города отмывался...

— Ничего, Колька! — сказал он, подошел и обнял меня за плечи.— Ты ведь лучше всех лазаешь по скалам, тебе удовольствие от этого.

Он правду сказал, я засмеялся радостно:

— А ты полезешь?

— А то как же? — заверил он.— Я от тебя пи на шаг...

Мы поднялись вверх по речушке до холма, который находился с левой стороны. Собственно, здесь была не одна, а целых две речушки, которые имели общее устье, но войти в него с моря на пляжке было невозможно даже в полный прилив, потому что путь преграждала большая песчаная отмель, намытая штормами. В воздухе было полнейшее безветрие, от ольхи веяло здоровым сырым запахом, который бывает еще у нарубленных дров, если их внести с мороза в жарко натопленную избу. Казалось, ткань реки не шевелилась, хотя на самом деле речушка бежала довольно быстро; а я старался определить, есть ли в ней рыба, но ее трудно было обнаружить на ходу — так она маскировалась под цвет гальки.

Мы обогнули холм с морской стороны, прыгая по твердым высохшим бревнам. Берег здесь был гористый, до того разрушенный волнами и ветром, что от него осталось лишь несколько скал, которые имели форму огромных треугольников. Водопад круто падал с вершины скалы, опи-

сывая дугу. Мы бросили ватники и стали карабкаться на скалу, хватаясь за рябиновые кусты. Я обогнал Генку, он остановился подо мной, упираясь спиной в валун, и закурил, а я забыл про него. Кайры летали вокруг, похожие на маленьких пингвинов, на меня сыпались помет, пух и перья, воздух гудел от птичьих крыльев и крика. Я взобрался наверх и стал ходить по базару, складывая в ведро самые крупные и красивые яйца, голубые и белые, а потом вспомнил про Генку и нагнулся, чтоб подать ему ведро. Генку я нигде не увидел и позвал его на всякий случай, но вокруг стоял такой птичий крик, что я даже голоса своего не услышал. Я стал осторожно спускаться вниз с тяжелым ведром в руке, а кайры летали у самого лица, и, кроме них, здесь были еще глупыши со своей вонючей слюной. Дело дошло до того, что один глупыш клюнул меня в лицо, я остушился от неожиданности и съехал с ведром под водопад. Яйца все разбились, я промок до нитки и направился с пустым ведром к лодке. Тут я увидел Генку — он стоял на берегу и курил.

Я обмыл в ручье робу и оставил ее сохнуть на гальке, а сам — голышом, в одних сапогах — пошел на луг, чтобы не видеть Генку и не разговаривать с ним. Я сел на непросохшую траву и осмотрел ее, нет ли поблизости каких-либо букашек или муравьев. Здесь росло много черемши — дикого чеснока. Я жевал его и ожидал солнца, чтоб согреться.

Генка подошел и сел рядом.

— Дрожишь, дохляк? — Он засмеялся и толкнул меня.

— Искупался в водопаде...

— Чего ж ты лез туда? — удивился он.

Я понял, что он хочет ссоры со мной, — он на берегу бывает совсем дурной, — и не ответил ему.

— Ну? — сказал он, побледнел и сжал кулаки.

Я поискал глазами, чем бы запустить в него, если он

полезет драться, но ничего не нашел подходящего. Драки у нас не случилось, потому что Генка вдруг закричал:

— Кони! — И показал на море.

И тут я увидел лошадей, которые бежали по приливной полосе. Они были желтой масти, лохматые какие-то, а гривы и хвосты у них были белые и прямо развевались в воздухе. Накат настигал их, поддавал сзади, и лошади взвивались на дыбки, перебирая передними ногами, мотая оскаленными, словно улыбающимися мордами, и прыгали через волну — это были невероятные, чудовищные прыжки, я никогда не видел, чтоб лошади так прыгали... Они перемкнули через речку и стремительной желтой струей вошли в луг, и головы их быстро поплыли над травой, а потом уже ничего не было видно, только ржанье стояло в воздухе...

— Не сбыхал Степаныч,— сказал я.— А откуда они тут?

— Дикие! — сказал Генка, задыхаясь. — От японцев остались... А бегут как, бегут, а? — говорил он и крепко держал меня за плечи, будто боялся, что я сейчас побегу вслед за лошадьми, если он отпустит меня.

Я удивленно смотрел на Генку, а он вдруг оттолкнул меня, снял с пояса ремень и, пригнувшись, побежал по траве. Тут слышалось тоненькое ржанье, и я увидел жеребенка.

Жеребенок был мокрый после купания, раздувал поздри и бежал по конскому следу, вернее, не бежал, а как-то смешно подпрыгивал, выпутывая из травы ноги, ничего не видя вокруг, в траве мелькал его темный круглый бок, и Генка, рванувшись жеребенку наперерез, метнул свой ремень, как лассо... Петля захлестнула жеребенка, он с перепугу присел на задние ноги, а потом взвился и захрипел, выпучив глаза, но Генка мертво повис на ремне. Я

подбежал, и мы вдвоем повалили жеребенка. Жеребенок бился и ржал под ногами. Генка крепко держал его за голову, а я вытащил из-за голенища нож и, нащупав мокрый, скользкий в руках хвост, отрезал его по самую маковку...

— Ты чего делаешь? — заорал Генка. — Гад!

— Хвост, — сказал я. — На кисти!

— Не трожь!

Мы отпустили жеребенка, но Генка не снимал с него ремня. Жеребенок стоял смирно, расставив худые ноги, кожа у него прыгала на спине, а бок обсыхал и становился желтым; он тяжело дышал и смотрел на нас круглыми блестящими глазами, звезда белела у него на лбу, и Генка вдруг обхватил его за шею и поцеловал прямо в мягкие черные губы.

— Я твой папаша! — сказал он весело. — Что, не узнаешь?

— Он хвост просит, — засмеялся я.

— Хвост у него новый отрастет... А этот я хранить буду! — Он взял у меня хвост и сунул себе за пазуху. — А ремень — твой, — сказал он жеребенку, — носи его...

Жеребенок нехотя пошел от нас с Генкиным ремнем на шее, а Генка повалился на траву и сказал:

— Все одно что девчонку милую поцеловал!

— Скучно ему без человека, — сказал я.

— Колька! — загорелся он. — У тебя деньги есть?

— А что?

— Отдай их мне!

— Вон какой! — усмехнулся я. — Мало тебе своих...

— Колька! — молил он. — Я хочу жеребенка купить!

Я понял, что Генка шутит, и решил поддержать разговор.

— Ты лучше большого коня купи, — посоветовал я.

— Что мне, белье на него вешать? — ответил Генка. —

Мне жеребенка надо, оброть с кистями, с бляхами... девочку милую — чтоб у нее никого, кроме меня, не было, и жеребенка... чтоб катал ее, когда вырастет...

— Все одно с моря не уйдем,— сказал я и отвернулся от него.— Захватило оно нас, все одно...

— Ты-то уйдешь...— Он встал и, придерживая штаны, пошел к лодке. Я поплелся за ним.

Теперь он сидел на веслах, и я видел его лицо — грубое и красивое, с длинным ртом и невыспавшимися глазами, и желто горели гильзы у него на поясе, и все кругом было оранжево-желтым от солнца, и я подумал о желтом жеребенке, а потом я перестал о нем думать.



Погрузку окончили. Команда отправилась отдыхать, а на палубе осталось двое вахтенных: грузовой помощник и плотник. Штурман сидел на трюме, проглядывая накладные, — на руки ему из распахнутого ватника свешивался намокший галстук с пальмами. Плотник стоял рядом с топором в руке. Плотник был немолодой, усатый, маленького роста.

— Отпусти, Степаныч, — говорил он помощнику. — Ведь и так чего делаем: лошадей морем возим, тюленя стреляем, а тут еще человека от земли можем отлучить... Грех возьмешь на душу, если не отпустишь, потому что должен человек земное крещение принять...

— Разве ты в бога веришь?

— В бога не в бога, а верую в высшее

напряжение человеческих сил... Если в такой момент сердце говорит: иди, значит, так оно и надо делать...

— Да разве кто был бы против, если б тебе такое раньше пришло в голову! — ответил штурман, досадливо отмахнувшись. — А то ведь с часу на час может отойти... К тому же боюсь я возле этих проклятых лошадей: если спудятся под грозой, чего я один сделаю? А тебя они уважают...

— Вот птица перелетная к гнезду стремится, — продолжал плотник, не слушая его, торопясь высказать внезапно возникшие мысли. — А знаешь почему? Скажешь: скучает по родному месту... Оно верно, только ведь птица этого не понимает, ей хочется воды подледной напиться... Так и малый ребенок — ты ему дай материнского молока хоть глоток, чтоб землю запомнил! А без этого нельзя ему в море идти...

Лязгнул иллюминатор, послышался крик ребенка. Из иллюминатора высунулась растрепанная голова:

— Плотник! Опять заштормило, на десять баллов... Разреши кореша взять к себе в койку, а?

Плотник кивнул, разрешая. Он переложил в другую руку топор, беззвучно пошевелил губами, но, по-видимому, окончательно потеряв нить своих рассуждений, сконфуженно умолк.

Несколько дней назад у него во время преждевременных родов умерла жена, которая работала буфетчицей на судне, и ее похоронили на одном из безлюдных Шантарских островов. Плотник, в силу своей застарелой мужицкой враждебности к медицине, обострившейся со смертью любимой жены, не позволил отправить сына на материк санитарным вертолетом, а оставил его при себе — кормил консервированным молоком, ухаживал за ним не хуже любой матери, и вся команда помогала ему — все-таки развлечение среди однообразной морской жизни... Плотник

сильно изменился за эти дни: стал менее замкнутым, говорил много и непонятно, на судне считали, что он «немного тронулся» умом. Промысел уже закончился, судно направлялось во Владивосток, а в этот портовый поселок они завернули, чтобы сдать на зверофермы нерпичье мясо. Думали управиться засветло, а тут вышла задержка — обязали везти лошадей на материк...

— Раньше коня лучше человека уважали, — снова заговорил плотник. — В солдаты — на нем, в поле — тоже, с невестой идешь — он рядом, как привязанный... Все припоминаю, припоминаю: трава выше пояса, вся в ромашках... На Дусе сарафан красный — умели тогда красивые платья шить... На коня ее посадил, ножками бока обхватила, боится...

— Ты смотри, не помешайся с горя-то, — вроде как предупредил его штурман. Он сунул в карман слипшиеся, в размытых фиолетовых чернилах накладные и посмотрел на мокнущих лошадей. «Охота ему волочиться за ерундой, — подумал он о плотнике. — Только ребенка застудит в эту собачью погоду! Одно слово — «морские крестьяне»: деревню бросили и к морю не привязались, мутят душу вольным людям!..» — Ладно, иди, — неожиданно для самого себя сказал он плотнику. — Только чтоб на одной ноге — туда и обратно... Понял?

Вскоре плотник уже спускался на причал, высоко в руках держа сверток с ребенком.

За пристанью была дамба с узкоколейкой — плотник видел огонь удалявшейся мотодрезины, по обе стороны дамбы светился затопленный луг. Впереди по холмам были беспорядочно разбросаны белые домики, словно овечье стадо; открылась пустынная улица с деревьями на тротуарах, которые были ограждены от ветра едва ли не до самой верхушки.

Плотник дошел до перекрестка, оглядываясь на темные занавешенные окна, не решаясь постучать в какую-нибудь дверь,— время было уже позднее, а потом он увидел полоску света, который падал через дорогу... Это была столовая. В коридоре были навалены стулья и один на другом стояли круглые сосновые столы — все новое, в упаковочной бумаге. В углу официант ополаскивал под ручкой бокалы, доставая их из вскрытого деревянного ящика, который стоял у его ног. Плотник видел его волнистый затылок и круглую спину, обтянутую узким пиджаком, и неуверенно топтался на месте, не решаясь заговорить первым, как заметил вдруг, что официант внимательно разглядывает его в зеркале, прикрепленном над ручкой.

— Извините,— торопливо заговорил плотник.— Шел мимо, гляжу: свет горит — вот оно как...— Он оглянулся, куда положить ребенка, и положил его на стол.— Чего ж вы луг упустили?— спросил он.

— То есть как упустили?

— Некошениый оставили до осени, погниет теперь под водой...

— А ты кто такой?— спросил официант.

— Вообще интересуюсь... В колхозе полжизни прожил — маленько поменьше вашей деревни будет... Конюхом. А потом на море, известное дело. Коней ваших погрузили... Такие кони — цены на них нету! Увезут в город — какая там для них жизнь...

— Еще погань эту, лисиц, надо убрать,— отозвался официант.— Вся зараза от них... Лисиц не берете?

— Нет.

— Зря... Луг, говоришь?— Официант повернулся к нему, вытирая мокрые руки полотенцем.— Кому он нужен теперь, этот луг? Город здесь будет, порт. Нефть обнару-

жили, папаша... Пер-спек-тива! А ты говоришь — лошади... Ресторан открывается, на сто восемьдесят мест! Так что завтра приходи, а сейчас ступай, закрывать буду...

— Тут вот какое дело...— начал было плотник, но не успел договорить: сверток на столе зашевелился, раздался плач ребенка.

Официант от неожиданности выпучил глаза.

— Что это у тебя?

— Сын... На море родился, можно сказать, отлученный от материнской груди,— торопливо заговорил плотник, качая ребенка.— Хочу, чтоб он земное крещение принял...

— Чего?

— ...а место здесь как раз подходящее: и луг, и кони — самая настоящая земля...

— Вот что, папаша...— Официант отбросил полотенце и взял его за плечи, намереваясь вытолкнуть на улицу.— Иди отсюда, а то милиционера позову!..

— погоди ты!— воскликнул плотник, упираясь с силой, неожиданной в его щуплом теле.— Ты мне одно скажи: у тебя есть какая баба на примете? Я уплачу за совет, вот тебе деньги.

Официант инстинктивно принял деньги. С минуту он молчал, переводя глаза с плотника на ребенка, что-то соображая про себя, а потом спросил неуверенно:

— Так тебе что, баба нужна?

— Во-во!— обрадованно закивал плотник.— Чтоб с грудью... Пойми: нельзя уходить в море без этого!

— Так бы и говорил,— усмехнулся официант.— А то плетешь черт знает что... Значит, так: свернешь сейчас налево в переулочек и иди, пока не увидишь кирпичный дом... Четвертый этаж, тридцать вторая комната, спросишь Лизку Королеву... Ну, ступай, ступай...

В фойе общежития дремал на топчане вахтер, в ярком

электрическом свете. Плотник прошел мимо него, ступая на цыпочках по кафельному полу, механически качая ребенка; мальчик совсем проснулся, но вел себя спокойно, поглощенный решением первой в жизни самостоятельной задачи — заполучить соску, которая выпала изо рта и находилась где-то в районе щеки...

Отыскав нужную комнату, плотник постучал в дверь ногой — руки были заняты — и, не услышав сигнала с обратной стороны, надавил плечом. Дверь, пронзительно заскрипев, отворилась.

В глубине комнаты голубовато отсвечивало за шторами окно, периодически освещаемое грозой. Плотник разглядел никелированную кровать, стул с одеждой, пепельницу на полу. С кровати протянулась голая рука, заметалась в поисках одежды. Испуганный женский голос спросил:

— Кто тут?

— Это я... — застеснявшись, пятась к двери, ответил плотник. — Я в коридоре подожду...

Ждать ему почти не пришлось. Дверь приоткрылась, молоденькая девушка, одергивая полы куцега халатика, удивленно посмотрела на него.

— Вам кого?

— Мне надо Лизу Королеву.

— Ну, это я... А вам чего?

— Мне в столовой про вас сказали... Тут такое дело: надо ребенка накормить...

— Какого ребенка? — Она посмотрела на сверток в его руках. — Вы про что, папаша?

— Лизка, — слышался из комнаты мужской голос. — Если это ребята за мной пришли, так я сейчас...

— Замолчи ты... — Она притворила дверь и, с возрастающим любопытством глядя то на плотника, то на ребенка, сказала: — Да вы не темните, говорите, что у вас...

Плотник, как-то сразу успокоившись, вразумительно изложил свою просьбу.

Девушка засмеялась.

— Какое у меня молоко...

— Чего ж он сказал?

— А потому, что он мерин паршивый... Вы так чудно говорите, что и я не поняла сразу.— Она потянулась к свертку и, отвернув клеенку, поправила соску.— Вам надо в родильный дом идти, а тут женское общежитие...

— Куда ж мне теперь идти, мне на судно пора,— ответил плотник.

— Девчонки у нас, все такие, как я, только...— Она подумала немного, и лицо у нее вдруг оживилось.— Вы подождите меня тут, я скоро обернусь...— И крикнула на ходу:— В комнату не заходите, непорядок там...

— Лизка...— Из комнаты выглянул паренек, смуглый, в суконке, надетой на голое тело.— Куда это она?

— Сейчас придет,— ответил ему плотник.

Паренек, оглянувшись на него, сунулся обратно в комнату, оставив дверь неприкрытой, и стал одеваться второпях.

— Приперся ты, папаша, в неподходящее время,— сказал он.— Даже не успели любовь прокрутить...

— Жинка твоя?— поинтересовался плотник.

— Какой там... А ты с судна?

Плотник кивнул.

— «Алданлес» еще не ушел, не знаешь?

— Так кто же она тебе?— спросил плотник.— Может, невеста?

— У нас только одна невеста,— ответил тот.— Море наша невеста.

— И море земную ответственность имеет,— сказал плотник.— Не простит оно тебе, если девчонку обидишь...

— Чудной ты, папаша, однако! — заметил паренек, он уже собрался уходить. — Ну, бывай пока, в море обсудим этот вопрос...

— Чего ж уходишь так? Хоть попрощался б... — сказал ему вслед плотник.

Тот, не оборачиваясь, отмахнулся от него.

Лизки все не было, а вместо нее пришли несколько девушек — наверное, Лизка им все рассказала; потащили плотника в комнату, накрыли стол с закуской, с початой четвертинкой водки и, охая, посмеиваясь, принялись обсуждать его неожиданный приход. Это были совсем еще молоденькие девушки, но с ребенком они обходились умело, перепеленали его, хотя в этом не было необходимости, баюкали его на руках, а потом Лизка, не заходя в комнату, сказала, чтоб ей передали ребенка, и унесла куда-то. Плотник, так и не притронувшись к еде, сидел посреди комнаты. Стул под ним был распатанный, с поврежденным сиденьем, несмазанная дверь скрипела; оконные шпингалеты кое-как держались, доски пола были плохо подогнаны — его глаз отмечал вокруг много разных неполадок: дом, наверное, сдали недавно, и строителям было недосуг сделать все, как полагается; у плотника руки чесались, так ему хотелось навести здесь порядок. Но он вдруг, ни с того ни с сего, начал рассказывать им о себе, о том, что случилось с женой, и какие она носила платья, и как они любили друг друга, и что, наверное, не случилось бы несчастья, если б они остались в колхозе и не поехали искать заработки на стороне. Он оживился, говорил складно и хорошо, и словно сам с удивлением слушал себя, и оценивал со стороны, что говорит, а девчонки приутихли, слушали его внимательно, не перебивая.

Потом одна из них, курносая, совсем еще подросток, с мозолистыми рабочими руками, которые она, словно

стесняясь, все время прятала от света, взволнованно переспросила:

— Значит, вы почувствовали, что сюда надо придти?

— Словно мне голос внутри сказал: иди,— ответил плотник.

Девушка оглянулась по сторонам.

— Это он к Варе пришел,— сказала она.

— К кому?— спросил плотник.

— Женщина одна, ей в нашем общежитии комнату дали... Ваш ребенок сейчас у нее...

— А что она?

— У нее сын недавно умер в больнице...

— Заболел?— спросил плотник.

— Кто его знает...— Девушка замаялась.— У нее все дети умирают, рождаются и умирают... По-женски у нее неладно. Ей родить запретили, а она рождает...

— Муж очень хочет ребенка...

— В море он...

— Ребенок умер, а она все молоко сцеживает...

— Как в тумане живет...

Пришла Лизка.

— А где мальчик?— спросили у нее.

— Припал к груди, не оторвется...— сказала она со злостью, не глядя ни на кого.

— А Варька?

— Что Варька?.. Кормит его...

— Папаша...— разволновалась курносая девушка.— Послушайте меня: оставьте вы ей ребенка! Мы ничего никому не скажем, а муж придет— подумает, от него...— с воодушевлением развивала она свою идею.— Вот счастье у них будет какое! Папаша, сделайте счастье человеку!

— Катя, сдурела ты?— ответили ей.— Как он своего ребенка отдаст... Что ты говоришь?

— А какое бы счастье было!— повторяла она, не слушая никого.

В дверь постучали.

— Идите,— сказала плотнику Лизка,— это она...— И у дверей вдруг остановила его за руку.— Вы ничего плохого не думайте,— торопливо заговорила она.— Этот официант сволочь, таких давить надо... А с парнем этим у меня ничего не было — только посидели в темноте... Скучно сейчас здесь, а скоро клуб построят, молодежь приедет, скоро весело будет...

— Я понимаю,— ответил плотник.— Хорошего человека не сразу разглядишь...

Он вышел.

— Ваш мальчик?— спросила женщина.— Берите... Спит он, пусть будет здоровенький.

— Спасибо вам,— начал плотник.— Я вам селедки хорошей пришлю... Или, может, денег, так я...

— Не надо,— сказала она, и он почувствовал, что она улыбается.— Вам спасибо... Мне, может быть, надо было, чтоб он вот так... Вот накормила его, и все. Теперь и на работу можно идти, правда?

— Правда,— согласился плотник.— Как же без работы?

Плотник вышел на улицу и шел до пристани не останавливаясь — гроза освещала дорогу. Когда он спускался с дамбы, то вдруг услышал какой-то топот позади и посторонился, пропуская мчавшихся лошадей. Они неслись по морскому берегу, спина к спине, и в грохоте грома он еще долго слышал стук копыт на дороге...

«Убегли с судна»,— подумал плотник, но не почувствовал раскаяния в душе.

На душе у него было спокойно.



В проливе было темно, лил дождь, и задувал сильный северо-восточный ветер — самая что ни есть хорошая погода для ловли каракатиц. Я сидел на корме лодки — румпальник был привязан к ноге — и орудовал рогаткой, забрасывая блесну как можно дальше под ветер, а в левой руке я держал фонарь и светил им на воду. В воде мелькали длинные плоские сайры, они служили хорошей приманкой для каракатиц, которые вслед за ними поднимались из глубины на свет. Каракатицы проносились, выталкивая из себя струю воды, — словно реактивные снаряды. Около сотни моллюсков уже лежали в лодке — их грушевидные тела со щупальцами содрогались, испуская черную жидкость; все руки у меня были вымазаны ею...

Прямо передо мной горели отличительные огни дока, который стоял на рейде за брикватером, а дальше, у выхода гавани, я видел световые сигналы брандвахты — она запрашивала позывные входящих судов, а за спиной у меня был берег в редких огнях, по которому проступали белые вольтеры звероферм и грузовая пристань. С пристани доносилось испуганное ржанье лошадей, но самих лошадей я не видел — их закрывали от меня стоявшие у причалов пароходы.

На доке отбили склянки — оставалось два часа до полуночи, но я продолжал ловить, поскольку знал, что пивной ларек на пристани закрывается в третьем часу ночи и я еще успею сдать туда свой товар. Насчет жены и ребятшек я не беспокоился — они ожидали меня к утру, погода, как я говорил, стояла будто по заказу, и, хотя я устал и продрог на ветру, настроение было подходящее, и только крики лошадей беспокоили меня... «С чего бы это они? — размышлял я. — Может, учуяли какую-либо беду?..» И только я успел так подумать, как лодку сильно подбросило, едва не порвало якорный линь, а голубенькое здание конторы на пристани покосилось у меня на глазах и снова приняло надлежащую форму... «Эге, так это же не иначе как землетрясение!» — догадался я и скоренько смотал снасть, втянул в лодку якорь и направился к берегу.

Когда я с корзиной, доверху наполненной каракатицами, взобрался на причал, то мне показалось, что никакого землетрясения и не было в помине: земля была спокойна под ногами, на пристани шла обычная работа, и люди вели себя так, как им положено было вести, только лошади кричали по-прежнему... Их грузили на пароход, проводя через нефтеналивную баржу, — суда стояли впритык бортами. Каждую лошадь сопровождали по два матроса: один

шел впереди, ухватившись руками за холку, второй поддерживал лошадь сзади. Погрузка эта отдаленно напоминала шествие подвыпивших приятелей, возвращавшихся с поздней гулянки. На палубе парохода, в наспех сколоченном из жердей загоне, лошади сбились в кучу, раздувая ноздри, налезая друг на друга, — странно маленькие и серые под дождем, в свете фонарей.

В пивном ларьке, куда я вошел, было мутно от дыма и человеческого дыхания. Стены ларька были разукрашены резьбой по дереву — трудился, наверное, какой-либо местный специалист. Уборщица подметала пол, и столы для удобства были сдвинуты на одну сторону, а посетители устроились на пустых бочках возле двери — они пили пиво, заедая каракатицами, которые подавались в глубоких тарелках разрезанные на узкие полоски и похожие сейчас на макароны. Все в ларьке было как обычно, и мне подумалось снова, что все это ерунда насчет землетрясения, — наверное, пригрезилось, как вдруг ларек так тряхнуло, что стены с рисунками пошли волной и с прилавка посыпались пивные кружки... Тут буфетчица объявила, что по стихийным причинам ларек закрывается, и чтоб побыстрее освобождали посуду, но посетители не проявили должного понимания: это были рабочие люди, они, может, целый день думали о том, чтоб вот так — спокойно, без сутолоки — посидеть за кружкой пива, обсудить кое-какие вопросы.

Я отволок на кухню корзину с каракатицами — их тут же варили в чугунном котле, наполненном морской водой, — подошел к прилавку и заказал пива, шесть кружек. Пока буфетчица наполняла их, я отхлебнул из одной кружки: пиво было никудышное, напропалую разбавленное водой, но я ничего не сказал буфетчице, потому что я брал пиво в долг, денег у меня не было ни копейки.

Я нанизал кружки на пальцы и направился в угол, куда были сдвинуты столы. Тут кто-то окликнул меня, но я не рискнул обернуться и продолжал свой путь. И тогда какой-то человек преградил мне дорогу.

— Колька,— сказал он,— не узнаёшь, что ль?!

В глазах у меня потемнело от удивления, а он захохотал и взял из моих рук кружки и поставил их.

— Генка!— заорал я, и тут мы принялись на радостях бороться друг с другом, а люди на бочках подзадоривали нас, и мы повалили друг друга на пол, а потом вернулись к столу.

— Ну,— проговорил я, отдышавшись, и хлебнул пива.— Где ты теперь?

— На пароходе,— ответил он.— Зашли сюда за лошадьми...

— Ага,— сказал я.

— А ты как?

— Тут живу... Женился! Теперь все у меня есть,— похвастал я.— Огорода восемь соток, коза, куры— так что молоко свое, яйца свежие...

— Отоварился ты, что и говорить...

— Поживешь с мое на берегу, и у тебя будет,— обнадежил я его.

— Вижу, что скоро ты замест курей будешь яйца класть,— сказал он и в упор посмотрел на меня, как только он один умел смотреть, и я понял, что сболтнул лишнее, и тотчас почувствовал, как что-то надвигается на меня, что-то жуткое и отчаянное, неотвратимое, похуже землетрясения... «Жену уведет он у меня,— думал я,— огород разрушит, козу эту продаст...» Я видел по его глазам, что не миновать беды, что не простит он мне мою радость, и ожесточился против него внутренне, но тут же вспомнил нашу работу на промысле — как однажды разбился бот и

нас выкинуло прибоем на берег, как лежали мы полумертвые на берегу, уткнувшись лицом в гальку,— чтоб чайки не выклевали глаза,— и заранее все простил ему: связан я был с ним теперь на всю жизнь прошлыми воспоминаниями, и хоть не видел я его уже года три-четыре, а был готов идти за ним, куда поведет, и ничего я не мог с собой поделать...

— Ты мне ответь...— Он закурил и покосился по сторонам.— Деньги тебе нужны?

— В море я не пойду,— сказал я быстро,— не пойду я...

— Ты мне не ответил на вопрос.

Что я мог ему ответить? На земле было сытно, но в смысле денег тут была вечная загвоздка — я имею в виду свою жизнь. Устроился я после свадьбы пастухом в колхозе — это в полусотне километров отсюда. Но поскольку я к этому делу не имел душевного расположения, дело не ладилось: коровы исхудали у меня до того, что перепрыгивали через плетни, будто арабские скакуны. А потом случилось, что медведь задрал корову, и выперли меня из пастухов совсем. Много я перебрал после этого деревенских работ, но ни к одной не лежала душа, не выдержал и подался ближе к воде, но и тут словно сам бог отвернулся от меня... Один сезон ловил я морскую капусту. А на этом промысле сама капуста мало чего значит, то есть ее можно наловить хоть тонну зараз, а главное здесь — погода. Если застигнет тебя дождь — пиши пропало, потому что от дождя капуста теряет все свои вкусовые качества, хоть ты бери и выбрасывай эту капусту обратно в море... Погорел я на капусте, устроился экспедитором в рыболовецкий совхоз, повез на сейнере соль по рыбокомбинатам. Это был не рейс, а целая комедия: сбросили мы соль в трюм навалом, а по дороге прихватил нас шторм, слежалась соль, стала как кирпич — ни киркой ее не взять, ни лопатой.

Вернулись назад и потом целую неделю рвали соль в трюме аммоналом, чтоб судно от нее освободить,— грохот стоял на всю пристань... В общем, зарабатывал я тогда, сколько сейчас на этой закуске к пиву, на каракатицах этих, черт бы их побрал.

— В этой «татарской кишке» вечный сквозняк стоит,— сказал Генка и посмотрел в окно на пролив.— Грузовики смывает за борт, не то что лошадей... Не хочу, чтоб они утонули!— прибавил он и тряхнул головой.

— Кто не тонет в этом море,— ответил я.

— Слышь, Колька!— загорелся он.— Как увидел тебя, так сразу понял, что сумеем мы это дело повернуть...

— Какое дело? — насторожился я.

— Поймать лошадей. Убежали две лошади при погрузке...

— Куда убежали?

— К побережью.— Он махнул рукой.— Уже полчаса как бегут...

— И не послали вдогон?

— Куда там! Спешут по «морскому протесту»¹, и все тут...

— Тут берег сплошь гористый,— сказал я,— из гранита. Не выбраться им наверх... К тому же прилив уже час как идет, там скоро воды станет по горло. Если не вернутся, потонут они...

Мы помолчали. Генка смотрел на меня.

— Может, прихватим на пароходе лошадей и — за ними?

— Есть там одно место,— вспомнил я.— Урез в скале,

¹ Имеется в виду так называемый «Акт о морском протесте», объясняющий потерю груза действием непреодолимой силы, опасности и случайности на море.

с источником... По нему с испугу может и лошадь взобраться. Если заметят, так выберутся...

— Если они сами выберутся, то будешь ты брать пиво в долг, пока не снесешь золотое яичко,— сказал Генка.

— А много заплатят?

— Кони материковые. Сам видел — цены на них нету...

— А если мы этот распадок сами проскочим в темноте, тогда как? — спросил я.

— Ну? — проговорил Генка, скулы у него передернулись.

— Ладно, согласен, — ответил я. — Поехали, черт с тобой...

Мы вышли из ларька и направились к грузовому пароходу. К нефтеналивной барже подходили суда, чтоб взять топливо: слышался визг автопокрышек — они висели по бортам судов для амортизации при ударе, — и на баржу выскакивали матросы, таская тяжелые топливные планги... Мы перебрались через баржу на пароход. На палубе никого не было, кроме вахтенного матроса и мокнувших под дождем лошадей. Увидев Генку, вахтенный вытащил из кармана красную повязку и протянул ее Генке. Генка обернул повязку вокруг рукава, и вахтенный, не сказав ни слова, тотчас скрылся в надстройке. Генка подошел к загону и ударом ноги выбил из него две нижние жерди — они были приколочены крест-накрест, кивнул мне, и мы вошли в загон, пригнув головы. Лошади сразу шарахнулись от нас, но Генка метнулся в их гущу и вывел высокого вороного жеребца с белым треугольником на лбу, накинул на него оброть — они грудой лежали у выхода. Жеребец, на удивление, нисколько не воспрепятствовал этому и покорно пошел за Генкой. Я замешкался возле лошадей: не столько из-за боязни, что меня может ударить

какая-нибудь из них, сколько из-за того, что я не знал, какую выбрать,— я ничего не смыслил в лошадях. Они, почувствовав мою нерешительность, отвернулись и уткнулись головами друг в друга, принимая таким образом «круговую оборону». И тут случилось чудо: из лошадиного стада ко мне ступила грудастая кобылка — низенькая в ногах, гнедой масти, на боку у нее белел номер, выведенный белилами... Кобылка стояла передо мной, наклонив голову, и я выбрал ее. Стальная палуба нефтебаржи еще не остыла после дневной жары, и неподкованная кобылка заплясала на ней, как артистка балета, и заупрямилась под рукой, а я тянул повод изо всех сил и кричал на нее. Генка уже был на пристани— сидел верхом на вороном жеребце и поторапливал меня. Он не мог мне помочь, потому что боялся оставить коня без присмотра. Повязка вахтенного была у него на рукаве, а на палубе парохода никого теперь не оставалось из команды, матросы других судов удивленно посматривали в нашу сторону. И у меня появилось вдруг нехорошее подозрение — может, никаких лошадей на побережье нет и в помине, и вся эта прогулка затеяна неспроста, от Генки можно было ожидать все что угодно, но отступать было некуда, раз я согласился ехать.

Мы миновали нефтепирс, слыша за спиной ржанье и храп метавшихся в загоне лошадей, обогнули площадь перед конторой, которая была уставлена новенькими тракторами «МТЗ-5», рулонами этикеточной бумаги и цинковыми бочками с хлоркой, оставили позади кузницу, нефтяной резервуар, спустились по откосу дамбы к воде и поехали в тени высокого берега.

Генка огрел своего коня, и тот пошел размашистой рысью, а моя кобылка затрусила следом. Потом вороной по своей воле перешел на галоп, и поначалу моя кобылка по-

спевала за ним, но вскоре начала отставать, потому что я мешал ей. Я не умел ездить верхом, подпрыгивал на лошади, сползая то на одну, то на другую сторону, отбил себе зад, а в животе у меня плескалось пиво. Но спустя немного времени я почувствовал себя уверенней и, прилагаясь к равномерному шагу лошади, мог уже смотреть не только на дорогу, но и вперед, и по сторонам, насколько хватал глаз... Вороной жеребец словно плыл по воздуху — так легко и изящен был его бег, искры вылетали у него из-под копыт; ветер волной накрывал меня и наполнял рубашку, а вверху было небо без единой звезды; пролив блестел по левую руку — ветер дул поперек волны, срывая барашки... Неизъяснимое, ни разу не испытанное чувство вскружило мне голову, и я уже не думал ни о жене, ни о близнецах-ребятишках, ни о землетрясении, ни об этих каракатицах; я не думал, куда мы несемся, зачем, что ожидает нас впереди, — даже вопроса такого не возникало в голове, как будто это движение само по себе имело какой-то смысл и оправдывало меня; и было что-то радостное, жуткое и загадочное в том, что летишь вот так, ни о чем не думая, неизвестно куда...

Возле мыса Генка подождал меня. Здесь прилив подступал к самой скале. От жеребца валил пар, ему не стоялось на месте, он поднимался на дыбы и вертел хвостом. Генка ослабил поводья, и конь опрометчиво бросился вперед, не разбирая дороги, и тут же провалился в воду по брюхо, а Генка едва не перелетел через его голову — здесь проходило устье реки, которую затопил прилив. Генка огрел кулаком жеребца, тот захрипел, выбрался из русла, но рассудительности у него не прибавилось, и он помчался дальше, как сумасшедший, расплескивая воду, но вода мешала ему бежать, и он начал выбиваться из сил. Тут Генка, наконец, сдержал его и перевел на спокой-

ный шаг. Я перебрался через речку без особых хлопот, если не считать того, что моя низкорослая кобылка окунулась в воду с головой, одежда на мне стала мокрой, и я теперь дрожал от холода. Дорога круто свернула на восток — то есть никакой дороги уже не было, все было залито водой. Мы продвигались вслепую по береговой кромке, придерживаясь за скалу, чтоб не сбиться в темноте с пути, а вода все прибывала, кобылка уже погрузилась в нее по грудь. В полную луну прилив в этих местах достигал пятнадцати метров, а сейчас луна была молодая и, значит, прилив будет поменьше, но нам и его хватило бы на всю жизнь... Моя кобылка никак не могла привыкнуть к ударам волны, пугалась и поддавала задом, а потом ржала и широко расставляла передние ноги, чтоб не упасть. Но она ни разу не ослушалась моей руки, потому что не могла поверить, чтоб человек послал ее на гибель просто так, ни за понюшку табаку, — это была такая славная кобылка, что сам бог не простил бы нам, если б мы утопили ее... Я напрягал зрение, пытаюсь что-либо разглядеть в темноте, и едва не налетел на Генку с его вороным.

— Кони! — сказал Генка. — Слышишь, ржут...

— Какие кони? — Я совсем забыл, что мы гонимся за убежавшими лошадьми. Держась за повод, я свесился к воде, приставил к уху ладонь. — Ржут... — согласился я, глянул на берег и закричал: — Вот он, урез, — тут мы раз воду брали!..

— Умница, — насмешливо сказал Генка, — и как ты здорово догадался...

Скала была разрезана ручьем, от которого пахнуло парной теплотой, — этот ручеек выливался из источника. Когда лошадь ступила в него, судорога прошла у нее по телу — ручеек был довольно горячий. Ущелье сужалось в одном месте настолько, что моя грудастая кобылка застря-

ла — ни вперед, ни назад, и тут она впервые за всю дорогу испугалась и заржала что есть мочи, и те лошади, за которыми мы гнались, ответили ей сверху. Я крикнул Генке, чтоб он подождал меня, но ни жеребец, ни Генка не обратили на меня внимания — они стояли друг друга. В конце концов кобылка прорвалась вперед, ободрав себе бока, и я, держа ее на поводу, стал подниматься по ручью и поднимался до тех пор, пока не увидел лошадей — они стояли по брюхо в источнике, положив головы на спину друг другу, как это умеют делать лошади. Им, видно, было хорошо стоять в теплом источнике, они решили переждать здесь темноту и не обращали на нас внимания. Мы с Генкой последовали их примеру и, не снимая одежды, с наслаждением разлеглись в теплой, остро пахнущей воде, и я даже не успел слово проговорить, как уснул.

Разбудило меня солнце. Не вылезая из воды, я приподнялся на локте и оглянулся по сторонам, а потом увидел Генку, который стоял на скале. Я выбрался из источника, отжал одежду, напялил ее на себя и подошел к Генке.

Утро было на редкость хорошее, и я видел громадный луг, зелено-розово переливающийся среди редких деревьев. Внизу сверкал пролив, пар от источника расходился в воздухе. Генка задумчиво смотрел в одну сторону, посмотрел и я и увидел кулика, который низко летел над лугом; и увидел волнующийся след в траве, мокрые спины лошадей, среди которых была и моя кобылка... Я смотрел на них при утреннем свете, и хотя мне было жаль потерянных денег, я не осерчал на Генку, что он отпустил лошадей. Ведь не из-за денег мы мчались в темноте и чуть не утонули под этим берегом, не для того мы неслись, не разбирая дороги, чтоб увезли потом этих лошадей под померами на пароходе... И безо всякой связи подумал: сколько друзей растерял я по свету, сколько ребят увезли от

меня во все стороны пароходы,— я даже не знал, где они сейчас и встретимся ли когда, как на этот раз с Генкой. И мысленно пожелал им, чтоб они не утонули. Еще я подумал, как будет хорошо от сознания того, что в каком-то диком месте постоянно станет жить дорогое тебе существо, к примеру, эта кобылка,— рвать траву и вертеть хвостом, и ты не можешь ее потерять, и всему этому я обрадовался, как ребенок, и подумал: никто уже не увезет ее под номером, и, значит, что если кто-нибудь хоть раз испытал в жизни такое, то поймет и не осудит нас...



У же была полночь, а в порту стояла одуряющая духота, жаром несло от раскаленных за день пароходов, и полуголые грузчики, которые катали к холодильнику стокилограммовые бочки со шкурами, прямо обливались потом и ныряли то и дело в огромную цистерну с водой — купаться в бухте запрещалось. Между тем другая бригада, состоявшая из моряков, работала глубоко под землей, на двадцатиградусном морозе, — они устанавливали бочки в холодильнике. Бочки доставляли сюда лифтом. Моряки ставили их на цементном полу, перекладывая каждый ряд настилом из прочных досок. В холодильнике слышался шум мощных вентиляторов, которые прогоняли через охладительные камеры нагретый воздух, стены и потолок покрывала аммиачная шуба,

распространявшая отвратительный запах. Моряки были в ватниках, сапогах, в подбитых мехом рукавицах, их дыхание ином оседало на одежду, и когда они поднимались наверх за новой партией бочек, то долго не могли согреться и топтались возле склада, ошалело таращили глаза по сторонам.

Территория порта была хорошо освещена — на кранах горели лампы дневного света. Это были японские краны «Сумитомо», кабина управления у них выдвигалась далеко вперед, так что крановщик мог наблюдать, что делается в трюме. Вдоль причалов стоял под разгрузкой товарный состав с пиленным лесом, за ним высились штабеля пустых бочек. Возле грузовой конторы было несколько деревьев, черных от угольной пыли. А по ту сторону бухты была ясно видна понтонная переправа и редкие фигуры гуляющих и стеклянное здание морского вокзала, через которое на пассажирский причал выливался поток людей, — это были девушки-сезонницы, которых отправляли на рыбокомбинаты. Было видно, как они поднимались на пароходы, держа в руках раскрытые паспорта; сидели на чемоданах и узлах возле швартовых тумб, ожидая своей очереди... Каждый раз, вылезая из холодильника, моряки видели эту нескончаемую погрузку — она разворачивалась впереди, словно на неом светящемся киноэкране, и возбуждающе действовала на них, но постепенно живое ощущение происходящего убывало, и уже казалось, что наблюдают они нечто бесплотное и нереальное, не имеющее к их жизни никакого отношения.

Только один из них никак не мог успокоиться. Он был новичок на флоте, его только что взяли. Никто не знал его имени, зато он сразу получил прозвище — Сынуля, очевидно за то, что был гораздо моложе остальных. Сынуля не так давно приехал сюда по вербовке — на стройку, но

работа там не удовлетворила его, он, можно сказать, только и думал, чтоб устроиться на какой-нибудь пароход. Среди сезонников, которые поднимались на пароходы, была и его Танька. Они однажды увиделись в городе, но не решились заговорить, потому что были в ссоре, и, может быть, из-за этой ссоры он и поехал в этот далекий край, а она — следом за ним... Увидев Таньку в чужом городе, Сынуля тотчас забыл прошлую обиду и уже помышлял о примирении, но вдруг случилось, что они оказались по обе стороны бухты, так и не выяснив своих отношений, и сейчас Танька уедет, а потом они отойдут на рассвете, и бог знает, когда увидятся... Все вокруг теперь казалось Сынуле каким-то странным наваждением: и этот город, по которому он шатался в поисках работы, не зная, куда себя деть, и лица моряков, и работа в холодильнике. Только насчет Таньки он знал точно: она здесь, он видел ее собственными глазами, она сейчас уедет...

Кто-то из моряков окликнул его. Поток груза в это время прекратился, видно, грузчики перекусывали наверху, а здесь моряки совещались о чем-то.

Оказалось, нужно было несколько человек, чтоб поехать на кладбище — похоронить погибшего на промысле моряка. Отбирал людей огромного роста матрос со шрамом, которого Сынуля видел впервые. Он был грубо-красив даже в рабочей одежде, с тем особенным загаром на лице и руках, который бывает у людей, работающих в ледовой обстановке. И этот матрос неожиданно показал на него...

В грузовике ехали четыре человека, не считая шофера: один стоял у переднего борта, а два — сзади, у ног покойного, который лежал в закрытом гробу, обитом красным сукном. Матрос, который выбрал Сынулю, сидел вместе с

шофером — он показывал дорогу. Шофер вел машину на большой скорости: когда она поднималась на сопку, моряки, стоявшие у заднего борта, упирались ногами в стенку гроба, удерживая его на месте; когда машина спускалась — то же самое проделывал матрос, который стоял впереди. Он удерживал в руках пустую автомобильную покрывку для амортизации. Это был пожилой человек с бородой — концы ее были засунуты под ватник, который он застегнул до последней пуговицы.

На улицах не было видно ни машин, ни пешеходов, только трамвай грохотал по рельсам — среди темных деревьев то появлялись, то исчезали два освещенных вагона. Ниже трамвайных рельсов слабо светила спортивная гавань — без судов и огней, в воздухе проступал контур яхты с неубранными парусами, с цифрами на полотне. Машина одолела крутой подъем — колеса грузовика прямо буксовали на расплавленном асфальте, — свернула в узкий переулок и остановилась. Матрос со шрамом вышел из кабины. Сынуля увидел слева от дороги невысокую ограду из булыжника, аккуратный дворик с цементным подходом к крыльцу дома. Матрос долго вытирал ноги на крыльце — царапал доски отставшими на подошвах гвоздями. Наконец он вошел и долго не выходил. Сынуля даже не заметил, как он вернулся.

— Ну что? — спросили у него.

— Не хочет ехать, — ответил матрос.

— А как она?

— Сидит за столом в темноте, и все.

— Ты ей все рассказал?

— Что ей расскажешь? Твердит одно: не видела я, что он погиб, так что и знать не хочу ничего...

Шофер высунулся из кабины:

— Ребятки, давайте быстрее, — сказал он, — а то мне в больницу за женой надо...

— Пойду я к ней, — проговорил матрос со шрамом. — А вы уж там без меня, не могу я ее оставить...

Дальше они поехали втроем. В конце улицы, у железнодорожного переезда, матрос, который стоял рядом с Сынулей, попросил остановить машину.

— Только жинке скажу, что мы здесь, — пробормотал он, не глядя ни на кого. — Подождите минутку...

Ему долго не открывали, а потом внутри дома кто-то пронес зажженную лампу, дверь отворилась, послышался женский крик. Они о чем-то говорили, а потом между ними началась какая-то возня, женщина закричала: «Вася, пожалей меня, не уходи!» — в доме заплакали ребятки...

Пожилой матрос, перегнувшись через борт, крикнул:

— Погоняй!

И машина тронулась.

Пожилой матрос сошел за железнодорожным переездом, где начинался поселок — ряд плоских каменных барачков с деревянными фасадами. Он ничего не сказал, только коротко взглянул на Сынулю и вдруг выпрыгнул на дорогу на полном ходу — легко, шофер даже не услышал ничего.

Теперь Сынуля остался один. Шофер гнал машину, не сбавляя скорости, — гроб то отлетал к кузову, с такой силой ударяя в автомобильную крышку, что воздух выходил из нее со свистом, то отлетал к заднему борту, — Сынуля едва успевал поднять ноги, чтоб не зашибло. Он стал опасаться, что гроб в конце концов проломит борт и выпадет на дорогу, и хотел предупредить шофера, но тут машина остановилась. Сынуля понял, что они приехали.

Кладбище занимало весь склон сопки, огибало ее с морской стороны, почти спускаясь к воде. Сынуля здесь

был один раз — пришел взглянуть от нечего делать. Был воскресный день, и, как помнил Сынуля, его тогда особенно поразило то, сколько там было людей. Наверное, на улицы в праздник выходило меньше. Вовсю работали продовольственные ларьки, велась оживленная торговля товарами с открытых машин, детишки весело бегали... Все было так буднично, весело, так спокойно — без слов и причитаний... Ограды почти везде были одинаковые, похожие на широкие двуспальные кровати, с железными венками на надгробиях. Большей частью здесь были захоронены моряки — кладбище было морское, но он видел также несколько могил летчиков, на них лежали самолетные винты. На самом верху сопки было одиннадцать могил без холмиков, одни надгробья из серого камня с надписями на английском языке — здесь лежали солдаты и офицеры канадского стрелкового полка. Все они были зарыты в один день и в один год — 1919-й, неизвестно, что с ними случилось здесь, вдали от родных берегов...

Шофер, освещая дорогу фонарем, стал продираться в зарослях серого дубняка — он вроде знал место. Сынуля шел за ним. Вскоре они услышали стук железа о камень, потом увидели свежую могилу, оттуда вылетали комья глины. Человек в яме подобрал лопатой последние куски земли и, кряхтя, выбрался наверх. Это был лысый старик в пиджаке, в пижамных брюках, из кармана у него торчал пучок зеленого лука.

— Привезли? — спросил он.

Шофер, не ответив, вернулся к машине, ломая ветки, подогнал ее к месту. Втроем они, напрягаясь, спустили гроб в яму.

Старик шумно высморкался в платок.

— Этот самый? — поинтересовался он у Сынули. — Не перепутали?

Он шутил, но Сынуля не понял шутки и недоуменно посмотрел вниз. Яма получилась чересчур узкая, и гроб повис в ней, не достигнув дна. Сынуля опустился на корточки и стал давить на крышку руками, пот лил с него ручьем.

— Ничего, сам осядет,— заметил старик.— Дождик пойдет, и осядет... Тут место низкое...

Место было в самом деле низкое, но неплохое, открытое с моря: был виден пролив Босфор Восточный с выступающим Русским островом — маяк сигналил оттуда проблесковым огнем...

— А когда дождик пойдет? — спросил Сынуля.

— Как задует с моря муссон, так и пойдет, — ответил старик.

— Ну, поехали! — не вытерпел шофер. — А то у меня жена рожает...

— Чтоб она тебе двойню родила! — пожелал ему старик.

Шофер вдруг широко улыбнулся.

— Я согласный, — ответил он. — Прокормлю как-нибудь... Ну поехали...

Сынуля не нашел своего судна в порту. На его месте стоял рефрижератор «Амур». Там все спали, даже вахтенного не было на палубе — так что не у кого было спросить. Судно, на котором теперь предстояло работать Сынуле, временно отозвали с промысла. Стоянку разрешили до утра, но моряки поговаривали, что ее могут сократить. Сынуля сгоряча решил, что судно отправилось на промысел, без него, и страшно перепугался. Этот испуг совершенно вытеснил все его прошлые страхи, думы про Таньку, все в нем сжалось от тоски и отчаянья. Но потом до него дошло, что судно не могло уйти — ведь часть команды была на берегу. Наверное, оно отошло на рейд или, скорее всего,

отшвартовалось в неохраняемой зоне, чтоб было проще подобрать оставшихся на берегу людей. Так оно и оказалось. Шхуна стояла на песках, у самых городских стен. Сынулю подбросил туда швартовый буксир.

На судне было много людей, моряки привели сюда жен и ребятишек. Ребятишек, видно, взяли сонных, прямо с кроватей, и они недолго выдержали — их выносили на руках из кают и укладывали рядышком на трюме, на расстеленных тюфяках. Сильно пьяных не было, но трезвых Сынуля тоже не видел. Среди жен моряков было немного молодых женщин, все больше среднего возраста. Недоспавшие, с распухшими лицами, они казались даже старше своих лет. Он увидел пожилого матроса — тот расслабленно сидел на палубе и, по-видимому, больше притворялся пьяным, чем это было на самом деле, а женщина, наклонившись, прикладывала к его голове мокрое полотенце. Пожилой матрос выговаривал ей, икая: «Плохо вы нас ждете! Почему, когда в город идем, все время ветер по ноздрям? Почему?» — строго допытывался он и пробовал отвести ее руки. В выходных штанах и тенниске, без бороды он выглядел нелепо, казалось, это совсем другой человек.

На носовой палубе происходила свадебная церемония: женихом был загорелый матрос со шрамом, он даже сейчас не сменил своей рабочей одежды. Зато невеста в настоящем подвенечном убранстве, которое, правда, не очень шло ей. Даже несмотря на плохое освещение, было заметно, что она уже не первой молодости, но глаза ее светились такой счастливой, наивной радостью, такая славная улыбка играла на раскрасневшемся лице, что от нее трудно было отвести взгляд. Свадебная церемония осуществлялась, так сказать, в ее морском варианте: один матрос держал на полотенце хлеб-соль, а боцман бил в рын-

ду, а два шафера из моряков и подружка невесты, взяв за руки новобрачных, обводили их вокруг якорной лебедки — сперва один раз, потом второй... Теперь, по морскому обычаю, жениху и невесте следовало съесть по кусочку земли с якоря. Они, перевесившись через борт, пытались дотянуться до него, а остальные, хохоча, удерживали их за ноги — платье на невесте задралось, были видны смуглые жилистые ноги с крепкими икрами...

В каютах находились семейные моряки. Жены принесли сюда все, что можно было взять на огородах: молодой картофель, огурцы, помидоры, виноград... Хватало здесь и выпивки. Двери то и дело открывались, прибывший подходил к столу, и, едва успев поздороваться, налегал на еду — она моряков интересовала больше спиртного. Сынуля последовал примеру других: осушив стакан водки, принялся закусывать, он давно не ел свежих овощей...

В коридоре слышались хохот и крики, свадебная процессия двигалась сюда. Подружка невесты пела протяжную народную песню: «Ой, мороз, мороз, не морозь меня, не морозь меня, моего коня...» — а ноги ее отплясывали какой-то энергичный, не в тон песне, танец... Увидев Сынулю, она перестала плясать, закричала: «Ой миленочек, дай я тебя расцелую!» — и так сильно обняла его, что Сынуля чуть не задохнулся. Боцман постучал ему по спине, сказал весело: «Ольга, бери его — хороший будет зять у твоей ма-машки!..»

Кто-то крикнул: «Горько!»

Жених и невеста поднялись. Матрос со шрамом был очень высокого роста — это особенно бросалось в глаза здесь, в каюте, и Сынулю поразило выражение его бледного лица. Он заметил, что невеста тоже пристально смотрит на жениха, румянец отхлынул от ее щек... Они наклонились над столом, невеста обхватила жениха за шею, и тут

он оттолкнул ее — так сильно, что она упала на руки стоявших сзади. В каюте возник шум — никто не понимал, что происходит. Девушка выбежала в коридор, а матроса схватили за руки.

Он кричал, задыхаясь:

— Чего собрались? Чего тут жрете!.. Санька погиб, Санька в могиле лежит, а вы жрете...

— Дурак,— укоризненно сказал ему боцман.— Или мы переживаем меньше твоего? Зачем праздник испортил? Эх, дурак, дурак...

Матрос обхватил голову руками:

— Если б ты видел, как она там сидит,— глухо сказал он.— Если б ты только посмотрел... Зачем мне жена? — говорил он.— Чтоб так сидела потом...

Боцман поискал глазами по сторонам, увидел Сынулю и крикнул:

— Проводи невесту... Живо!

Сынуля выскочил на палубу. Он сразу различил в темноте белое платье девушки — она карабкалась вверх по откосу, размахивая руками... Услышав его дыхание, она обернулась.

— Ну, что тебе? — спросила она и как-то виновато улыбнулась.

— Ты не переживай,— сказал Сынуля.— Не обижайся, ладно?

— Ничего,— ответила она.— Ничего...

— Ты только ничего плохого не думай,— говорил Сынуля, его прямо колотило, когда он на нее смотрел.

— Лицо от слез не опухло? — спросила она.

— Совсем нет! — Сынуля наклонился и подул на ее мокрую щеку.— А я тебя сразу увидел! — радостно сказал он.

— Так голова болит... — поморщилась она. — Наверное, теперь не усну... Дай я посижу тут, не мешай мне...

Сынуля повернул обратно. Огни в бухте померкли — начинало светать.

Грузовой помощник Ишмаков не был среди тех, которые отмечали приход на судне. Еще с вечера он появился в портовой столовке, которую моряки и грузчики окрестили между собой одним словом — «Подопшва». Название это объяснялось довольно просто: столовая находилась под пешеходным тротуаром, так что шаги прохожих раздавались прямо над головами посетителей. Ишмаков завернул сюда по дороге домой и остался. Он снял китель, сидел за столом в нательной рубашке, хмурый, с каплями пота на красном лице. У его ног стояла корзина, прикрытая рогожей, — там были подарки жене и ребятишкам.

Водку здесь не продавали, был только китайский коньяк, напоминавший по цвету плохо заваренный чай. Да и вкус у него был ерундовый. Грузовой помощник сидел трезвый и был всем недоволен. Ему не терпелось с кем-то поговорить. Когда-то он работал четвертым штурманом на теплоходе, а четвертый штурман, как известно, имеет дело с людьми — все паспорта пассажиров у него в руках, все их характеры ему положено знать по уставу. С тех пор и появилась у него такая потребность — искать людей, разговаривать с ними... А на зверобойном промысле с человеком поговорить непросто: в море — стрельба, зверь, надо за льдом следить, за течением, за компасом, чтоб не влететь в какую-нибудь передрагу, а придешь на шхуну — падаешь чуть живой на койку, там уже не до разговоров. Да и о чем с ними разговаривать? Он их и без разговоров знал всех, как облупленных.

В столовой долгое время никого не было, а потом стали появляться знакомые.

Первым к его столу подошел Иван Калинин — еще молодой, начинавший полнеть матрос, родом из украинских казаков, но языка их он уже не помнил, только брови у него были хохляцкие — черные, будто их провели углем. Иван Калинин пришел в столовку сдавать бутылки из-под кефира.

— Ну что, Иван? — сказал помощник, усаживая его напротив. — Где ты теперь?

— Где был и раньше, — ответил тот. — В «Востокрыбхолоде», лебедчиком на пятом краболове. Сам знаешь, какая работа: по двенадцать часов стоишь на лебедке, как проклятый...

Помощник понимающе кивнул.

— Сейчас в отгулах? — спросил он.

— Ну да.

— Ты ж, кажется, с рыбаками ходил...

— Было один сезон: нахватали «звездочек»¹ на минтае — заработки были неплохие...

— Чего ушел? — Помощник плеснул ему в стакан.

— Как тебе сказать... — Иван Калинин выпил. — Не чувствовал я от этой работы удовольствия. Вроде бы все как надо, а что ловишь? Ты этого минтая пробовал когда-нибудь?

— Нет, — ответил помощник. — Я его, Ваня, и за деньги в рот не возьму. Пусть его японцы жрут.

— Туда и отправляем, — ответил Иван.

— Помнишь, как мы вас спасали? — оживился Ишмаков. — Отозвали нас с промысла — надо спасать рыбаков. Эти рыбаки не умеют на шлюпках спасаться, у них, если машина отказала, считай, все... В Охотском вы тонули?

¹ За перевыполнение плана на рубку судна ставят звездочку.

— Возле Удской губы.
— Вот-вот... Четыре человека у вас утонуло?
— Три,— ответил Иван.— Их потом «Нахичевань» повез в Холмск для захоронения...

— Четыре, Ваня,— не согласился помощник.— Мы эту «Нахичевань» в море остановили на боте: хотелось покурить, а у нас папиросы кончились... Капитан чуть не перекусал нас со злости: он думал — случилось чего, а мы из-за пустяка остановили пароход. Хотя, может, и не из-за пустяка: курево в море — первое дело...

— А ты как сюда попал?

— Матрос у нас погиб, Санька Кулаков...

— Это тот, что фонарь расшифровывал? — спросил Иван.

— Точно,— усмехнулся Ишмаков,— было такое...

Случай и впрямь был забавный. У них однажды на промысле не вернулся на шхуну бот, и они никак не могли с ним связаться по радию. Наступила ночь, а его все нет. Все переполошились. И тут увидели огонь на берегу — мигающий такой огонек... Вызвали радиста. Тот говорит: «Я по вспышкам читать не могу». Тогда Саня Кулаков взялся — он работал радиометристом во время срочной службы. И сразу прочитал: «Осохли, ожидаем прилива...» А в это время бот уже у борта был... Как потом оказалось, на берегу стоял обыкновенный столб с фонарем...

— Спасибо, что запомнил,— удовлетворенно сказал грузовой помощник.— Знаю: хороший ты моряк, хоть теперь и бутылки сдаешь...

— Между прочим, тут и твои есть — жена передала...

— Как она там?

— Все так же: выйдешь из дома, глянешь — копается в огороде, придешь домой — она опять там...

— Детишки?

— Старший на рыбалке круглый день, я его и не видел ни разу, а девчонка — молодец, помогает матери...

— Кабанчик мой цел? Купил перед отходом, не знаю, как он...

— Бегает, паршивец, шкодит в огороде, жены наши чуть не перецапались из-за него...

— Помирятся...

— Да они уже разговаривают.

— Возьми-ка ребятам икры...— Помощник открыл кошелку.

— Крупная какая, хоть пересчитывай! — подивился Иван.

— Бери, бери...

— Ну, побегу я, — заторопился он. — Хлеб поставил, надо посмотреть...

Помощник услышал над головой его торопливые шаги.

Вторым к столу подошел старик Архипов — боцман на пенсии, весь в орденах и медалях. Зашел он сюда неизвестно чего — наверное, просто посмотреть. Боцман Архипов был из поморских зверобоев, они вместе перегоняли когда-то северным морским путем финские шхуны из Архангельска во Владивосток. Ишмаков воевал на севере, на морском охотнике, его в 51-ом списали в запас. Перед тем, как перегонять суда, он еще работал кочегаром на ледоколе, там они и познакомились.

— Помнишь,— сказал он,— как доставалось мотылям¹? В вагонетках таскаешь к бункеру уголь — аж кровь из ушей, топка кипит, шлак в бочку, а одна бочка с водой — ныряешь в нее в трусах и сапогах, как грузчики эти...

— Да, не то что теперь,— согласился бывший боцман

¹ Так называют на судах кочегаров и мотористов.

Архипов. Он понюхал коньяк и сморщился:— Чего это ты пьешь?

— Не нравится? — усмехнулся помощник.— Тебе это никогда не нравилось... Забыл, как пурген в бражку бросал?

— А вам и невдомек было! — закашлялся Архипов, слезы у него выступили на глазах.— Бывало, только выйдем на боте, а кто-нибудь уже за живот держится: боцман, правь скорее к льдинке, к льдинке...

Они помолчали.

— Я слышал, что Кулаков погиб,— сказал боцман.

— Он хотел бот спасти, Санька... У них солярка кончилась, вызвали судно по рации. А судну не подойти — лед спрессовался, тяжелый... Капитан передает: бросайте бот, идите к берегу. Все пошли, а он повернул назад. Он хотел бот спасти, а этому боту — шесть рублей государственная цена...

— Глупо, конечно,— согласился боцман.— Но подумай: а как ему без бота? Он стрелок, ему надо на боте ходить...

— Все ты можешь объяснить,— пахмурился Ишмаков.

Архипов завозился в карманах и вдруг положил на стол тяжелый замок, завернутый в промасленную бумагу.

— От подшкиперской,— объяснил он.— Уходил на пенсию, взял по привычке, чтоб не стянул кто-нибудь... Это еще довоенный, работает, как машина...

— Бережливый ты на государственное добро,— сказал помощник.— В одной робишке, наверное, всю жизнь проходил, а в кладовой целые залежи барахла... Вон сколько медалей заработал! Хвастаешься сейчас небось...

— Ну, медали я, положим, не за это заработал... А пошу их потому, что пионеры все время на утренники вызывают, не успеваешь их вешать... Вот и пошу,— Архипов вдруг обиделся чего-то.

— Обожди-ка,— остановил его помощник.— Возьми икры, подкрепи душу.

— Тут тебе самому ничего не осталось...

— Тогда селедку возьми: сам разводил тузлук, с листом и перцем,— видишь, какая...

— Так не возьмешь замок? — спросил Архипов.

— Давай,— согласился помощник,— пригодится.

— Вот спасибо! — обрадовался бывший боцман.

— Тебе спасибо. Живи долго, на радость пионерам,— засмеялся помощник. Архипов вышел.

Потом появился еще один. Помощник его фамилии не помнил. Когда Ишмаков работал на гидрографическом судне, этот парень был простым угломерщиком. Теперь он занимал должность технолога флотилии. Ишмаков его не приглашал, он подошел сам. Он сидел за столом, аккуратный молодой человек с пробором на голове, со сверкающими запонками в рукавах рубашки, и увлеченно чертил какую-то схему — собственный проект, по которому в скором будущем будут добывать зверя на береговых лежбищах.

— Ваш промысел технически устарел,— говорил он.— Даже на осенней добыче шкуры малопригодны, на них остаются кровоподтеки от дубин...

— О звере беспокоиться? — не понял помощник.— А когда инженером на судне работал, так закрывал глаза на бой недомерков... А почему закрывал? А потому что ваша получка от нашего плана зависела...

Технолог ступешевался.

— Ну, теперь все по-другому,— ответил он.

— Сколько бьем каждый год, а вы о его шкуре беспокоитесь! — говорил помощник.— А ТИНРО¹ ему кипшки

¹ Тихоокеанский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии.

меряет, дерьмо берет на анализ... Вот Белкин был, далеко вам до него.

— Так ведь и он кишки мерял...

— Не тебе говорить про него... Белкин живое понимал, елки-двадцать... К примеру, ты зверя разделяешь, а сердце его под твоей рукой — тук-тук... Понимаешь, что это такое?

— Что тут понимать? — Он поднял на помощника серые, немигающие глаза.

— Знаешь, иди отсюда! — сказал помощник.

Тот обиделся, поднялся из-за стола, и помощник вскоре услышал его размеренные шаги вверху.

«Санька хотел бот спасти — шесть рублей ему красная цена... — подумал он. — Одно дело — молодежь... Для них этот промысел все равно что охота какая-нибудь. Торопятся, погибают из-за дурости: винтовку не поставит на предохранитель, а пуля в стволе... Лезут за зверем в самое пекло... Можно подумать, что им денег больше, чем кому, надо! Саньке и без бота было чем заняться на судне, и деньги одни и те же... Не хотел с жиром возиться — из-за глупости погиб, из-за мальчишества...»

Помощник разглядывал бумажку с дочкиными каракулями — в такие бумажки жена заворачивала яички, которые пересылала ему на промысел. Дочка писала правильно, помощник не находил ошибок... «Хорошая девка растет!» — подумал он. Настроение у него поднялось немного.

В столовой уже никого не осталось, кроме обслуживающего персонала. Заведующая стояла у кассы, скрестив на животе полные белые руки. Ее звали Жанной, она когда-то работала буфетчицей на «Житомире». Этот «Житомир» утонул дурацким образом: у него в трюме возникла сильная течь, капитан решил осушиться, а грунт там был пе-

ровный, судно переломилось... Теперь Жанна не ходила в море, переложила эту обязанность на мужа — он работал штурманом на китобойной базе «Советская Россия». Помощник знал всю ее биографию.

— А ну, подойди сюда! — сказал он.

Жанна подошла, присела, улыбаясь, привычным движением смахнула со стола крошки.

— Чего тебе?

— «Чего тебе»... Когда-то поласковой разговаривала...

— Ох и давно это было! — засмеялась она, налила себе, что оставалось, и выпила одним духом.

— Не мешает тебе эта морская привычка? — поинтересовался помощник.

— Вроде не мешает... Иногда пьяная совсем, лица как в тумане, а деньги ясно вижу — ни разу не спутала...

— Как муж?

— В плаванье он... Раньше мне его работа не мешала, — призналась она, — а теперь постарела, иногда такое накатит...

— Еще есть совесть, слава богу...

— Ты б уже молчал — сам на троих был женатый...

— Верно, на троих...

Помощник задумался. Он за свою жизнь знал немного женщин, а еще меньше запомнилось. Первая у него была вот эта, но какой про нее разговор? Наверное, первой была все-таки вторая, она и запомнилась. Работала на мебельной фабрике, а до того всю войну с детдомом переехала... Много она горюшка хватила в молодости, и потом не повезло. Заболела вдруг — рак крови... Положили в 16-ю больницу, он ее принес оттуда на руках. Суставы у нее очень болели, не могла есть: он ей морковку потрет и кормит с ложечки, как ребенка. Потом отнесет в ванну, помоем — потела она страшно. Глядит на него: «Ляг, поспи...» Он от нее шесть

суток не отходил. Вечером проснулась, говорит: «Сашенька, плохой сон приснился...» А наутро умерла, двадцать девятого августа...

А теперь у него третья — все дети от нее, домохозяйка. Уже, наверное, все приготовила к его приходу, сейчас прибежит...

Жена пришла через несколько минут.

«Зубы у нее, одно удовольствие!..» — подумал помощник. Однажды она ему хотела пуговицу перешить на кожанке, ножниц под рукой не было, как хватанула зубами, так и вырвала пуговицу вместе с куском кожи...

— Сидишь? — спросила она, развязывая платок.

— Сижу, Клава...

Она повертела пустую бутылку.

— А я тебе водку взяла, баньку натопила.

— Санька у нас погиб...

— Знаю. Жинка его сейчас у нас: силком напоила ее, уложила спать... Пускай пока у нас живет...

— Молодец ты у меня! — Он погладил ее по голове.

Официантки смотрели на них.

— Ну, пошли, — сказала она. — Сколько той ночи осталось...

Он лежал на широкой кровати под собственным портретом в тяжелой раме — там он казался очень солидным, как обычно получаются на фотографиях люди маленького роста, и ему снилось, как он с детишками ловит чилимов на Амурском лимане. Он и во сне знал, что завтра уходит в море, что рыбалки не получится, но не мешал себе: день был такой радостный, чилимы так хорошо ловились, ребята весело кричали — грех было думать о чем-нибудь другом...



1

В кают-компании играли в карты. За столом сидели трое, но вел игру один, Сергей Кауфман, моторист,— все взятки были его. Это был детина с курчавой рыжей бородой, с лицом тяжелым и пористым, словно из вулканического туфа. Напротив Сергея сидел матрос Виктор Кадде — венгр по национальности, щедушный старичок с длинными пушистыми усами, которые казались на его худом лице неживыми. А третьим был буфетчик.

Буфетчик проигрывал прямо катастрофически, и, едва они успели доиграть кон, как он принялся тасовать колоду,— ему не терпелось отыграться.

— Не трогай карты,— сказал ему Сергей.— Виктор, тебе сдавать...

Старик уже ничего не слышал. Он спал, положив на клеенку стола плешивую голову, и, закрученные трубочкой, кончики его усов шевелились...

Сегодня утром они пришли из Аян — есть такой поселок на северо-западном побережье Охотского моря, — где отстаивались во время шторма. В Аяне несколько моряков получили из дому известие, что у них родились дети, и на судне по этому поводу устроили праздник. На спиртное обменивали все артельные припасы: консервы, банки с томатами и тушенкой, даже мешки с бобами, о существовании которых никто до этого не догадывался. На камбузе сегодня ничего не варили, кроме чая, и на команду напал сон с голодухи и похмелья, и вся надежда оставалась на охоту: на островах были медведи, бараны, дикие козы и много разной птицы и рыбы. Но капитан не пускал боты на берег: с моря гнало в бухту сильную зыбь, шхуна штормовала с зарифленным кливером (остальных парусов не было, они сгорели во время просушки — искра попала из трубы), капитан не мог найти подходящего места для стоянки, он опасался оборвать якорь-цепь. И даже не в этом была настоящая причина: ожидали, что тюлень, укачанный штормом, полезет на берег и начнется работа — время промысла подходило к концу, а трюм был почти пустой, из управления летели грозные радиогаммы...

Виктор Кадде был на вахте, буфетчик кипятил чай, а Кауфман пришел сюда с тоски. Он даже не мог понять, что это такое: тоска или болезнь какая... Вдруг нашло что-то, без всякой причины, сдавило горло и не проходит — хоть бейся головой о стенку...

— Ну что? — сказал он буфетчику. — Гуляша бы сейчас с вермишелью...

— Слышь, Кауфман: попроси капитана, чтоб меня взял на бот...

— Достанешь еду?

— Есть банка тушенки...

«Воробей, воробей, серенькая спинка, ты куда, воробей, дел мои картинки...» — вспомнились Кауфману слова детской песенки, которую он слышал утром по радио. Слова эти прямо выворачивали душу... «Что я тебе сделал? — спрашивал Сергей неизвестно у кого. — Чем я перед тобой провинился? Зачем я живу, заработал кучу денег, зачем моя жена ждет ребенка? Почему мне плохо, а ему нет?»

Кауфман внимательно посмотрел на буфетчика.

Буфетчик был на вид пацан, хотя ему уже перевалило за тридцать — красивое бессмысленное лицо, папироска во рту, на шее фасонисто повязан шелковый платок, а рубашка грязная, прямо лоснится, и лысеет он как-то по-дурачки — с затылка... На буфетчика уже был подготовлен приказ об отчислении, его увольняли по сорок седьмой статье. Он принес капитану обед, а тому не понравилось обслуживание: в компоте барахтался таракан, а по гарниру был рассыпан пепел от папироски, а сам «бычок» лежал на тарелке — буфетчик по-рассеянности уронил его... Это был нахал из нахалов, но еще неприятнее было видеть, как он опустил. Даже трудно было поверить: кажется, совсем недавно пришел сюда из пароходства — веселый, опрятный малый, любо было поглядеть на него... А случилось с ним вот что: на пароходах была дисциплина, города открывались через несколько суток, а там были кинотеатры, девушки, а здесь была тяжелая работа, кровь и вонь, все пеклись о плане, о зарботке, все с утра до ночи были на промысле, а буфетчик оставался на судне и никому до него не было дела...

«Это хорошо, что его выгонят, — подумал Кауфман. — В этом будет его спасение: пойдет на какое-нибудь судно,

и все изменится у него... «Воробей, воробей»... При чем тут воробей? При чем тут воробей, если есть буфетчик...»

Кауфман поднялся из-за стола и пошел в машинное отделение. Спускаясь по трапу, он услышал голос старшего механика — тот распекал за что-то вахтенного моториста. Кауфман вспомнил, что стармех просил его испытать двигатель на боте, — это был новый челябинский дизель, который поставили вместо финской «Майи». Сергей не выполнил просьбы механика, ему не хотелось торчать в боте под дождем, и сейчас, чтобы избежать неприятного разговора, Кауфман повернул обратно. Он поднялся в рулевую, к матросам.

Здесь было прохладно и сыро, слышался лязг телеграфа, грохотал перематываемый штурвальный трос. Напарник Кадде изнывал за рулем от скуки, а вахтенный штурман брал пеленг по радиомаяку и ругался про себя — пеленг давали нечеткий. Кауфман глянул на барометр — тот вроде стоял высоко, но это мало что значило в береговой зоне, где дули с ущелий переменные ветры и зыбь держалась по несколько суток. Дверь в радиорубку была открыта, и он слышал, как давали обстановку капитаны эрэсов, — селедка шла по всему Охотскому побережью, а потом судовой радист затеял разговор с девушкой с рыбокомбината.

— Валерик! — кричала она. — Здесь столько парней, прямо дверь с петель снимают... Но я тебе верная, помни!

— Помню! — кричал радист.

— Могу ли я надеяться? — спрашивала девушка.

— Можешь надеяться!..

Кауфман усмехнулся. Забавный он был все-таки, их радист! Говорили, пошел сюда из-за любви к морю... В самом деле, влюблялся он на каждой стоянке, а дома у него

жена и дети, и вроде с женой у него нелады — всю зиму спали на отдельных кроватях...

Сергей вышел на палубу.

На трюме стояли неотмытые черные боты и щиты с растянутыми на них тюленьими шкурами, на вантах висела шкура медведя, напоминающая фигуру человека. Артельщик Юрка Логов стоял у борта и ловил на японскую блесну каракатиц. «Орлана своего будет кормить», — догадался Кауфман.

Орел сидел на зачехленном боте, втянув голову в плечи, перья его слиплись от дождя, так что были видны белые полоски пуха. Это был совсем еще младенец, взятый из гнезда. Он не умел летать и боялся воздуха (орлы учат летать малышей, сталкивая их со скалы, и при падении подлетают под них для страховки), и в любую погоду этот орленок сидел вот так, безучастный ко всему, и от одного вида этой птицы у Кауфмана сосало под ложечкой. Но тут, заслышав его шаги, орел забеспокоился, повернул к нему голову с горбатым неокрепшим клювом, заклекотал, захлопал крыльями и вдруг бросился на него, царапая когтями по скользкому брезенту...

Сергей даже попятился от неожиданности. Этот орел не обращал внимания даже на своего хозяина, а Кауфмана он ненавидел, насколько способны ненавидеть птица или животное. Орленок словно чувствовал в нем свою смерть, а Кауфман в самом деле думал его убить, но все не выпадало случая сделать это незаметно для артельщика.

Сергей сбросил орла с бота, отвернул брезент и забрался под капот. Он возился с двигателем часа полтора, а потом решил отдохнуть до вахты.

В каюте было много воды, уборщик вычерпывал ее в ведро. Виктор Кадде уже сменился и лежал на койке, не

раздеваясь. Он никогда не раздевался в море: два раза то-нул и, видно, шок у него остался после этого.

Юрка Логов чистил ружье и рассказывал уборщику:

— А то сижу на крыльце с похмелки, огурец соленый жую, аж кривит меня, а Кутька рядом сидит и тоже морщит носик, глядя на меня: носик у него белый, а сам черненький, глазенки умные. Я ему кусочек огурца отрезал — понюхал и смотрит на меня: что, мол, за ерунду суешь? Я говорю: ешь, Кутька, за компанию. Он из уважения проглотил. Я ему еще даю — он хвостом повилял: извини-подвинься... А погиб он знаешь как? Я тогда поссорился с ним, впервые в жизни его ударил, он убежал и попал под паровоз — станция у нас рядом с домом... Я, когда узнал, честное слово, заплакал — простить себе не мог, что оби-дел его...

У Юрки обычно были две темы для разговоров. Одна те-ма — о девушках, у которых, по его словам, во время флот-ской службы он пользовался грандиозным успехом, и вто-рая — о сибирской тайге, о повадках разных зверей, раз-ных случаях из своей охотничьей жизни. У него рундук прямо ломился от барахла. Чего только в нем не было: магнитофоны, фотоаппараты, ружья, удочки, чучела птиц. Он вечно занимался чем-нибудь в свободное время: печатал фотокарточки, набивал ружейные гильзы, вытачивал из супреникеля модели судов — был мастер на все руки. Сергей его вначале считал хапугой, «сибирским валенком»; а потом понял, что Юрка — парень ничего, что он просто заслонялся этими вещами от однообразия их жизни, от тос-ки по земле, что он и моряком не был вовсе.

Кауфман разделся. Тело у него было белое, усеянное крупными веснушками; он уже начинал полнеть: по бокам висело и живот появился. «Видно, старею», — подумал он. А было ему тридцать пять лет.

Он повесил робу в рундук — туда натекло столько воды, что чемодан залило до половины, и все письма жены плавали в нем, только одно письмо, последнее, лежало на койке — он его получил в Аяне и даже не прочитал толком из-за этой гулянки...

«Здравствуй, Сережа! — писала она. — Меня жутко тревожит твое молчание. Мне скоро рожать, в октябре. Я так волнуюсь, а ты молчишь. Надо заготовить уголь, дрова, картошку, а не на что. То, что ты выслал матери, она пропила, а твои вещи она тайком продает на водку. Сереженька, родной мой, у меня только за август уплачено за комнату, у нас нет ни матраца, ни кровати, а ты матери высылаешь на пропой. А малыш так шевелится, прямо покоя не дает. Пиши, любимый, откровенно обо всем. Может, ты раздумал жить со мной? Напиши, тогда я буду искать другой выход. Это даже подло, Сережа».

— Тульские пачки сахара, в три ряда, по сорок пять кусочков, — вдруг сказал во сне Виктор Кадде.

«Вот же, подсчитал ведь!» — усмехнулся Кауфман. Он сунул письмо под подушку.

В самом деле, подумал Сергей, будет он с ней жить или нет? Женился перед самым уходом, снял комнату, пожил несколько дней и ушел в море... И про что он ей будет писать? Он ведь ничего о ней не знает — приходил ночью, уходил утром... Зря он отбил ее у Славки: тот был парень хозяйственный, ни в чем бы она не нуждалась при нем, а сейчас лежи и думай, и черт знает, что из этого получится... «Ладно, — решил он, — сообщу радиogramмой, чтоб ей зарплату перевели»...

«У старухи запой, — думал он о матери. — А красивая женщина была когда-то...»

Братья у Сергея были от разных отцов, его отец погиб

в финскую войну. Первый отчим пропал без вести в сорок втором, хороший был человек. Он вернулся после войны — без ноги, на костылях, попросил у матери разрешения пожить, пока устроится в инвалидную артель. Не разрешила... Сергей вступился за отчима, она избила его, заперла в чулане на двое суток. Сердце у него тогда и ожесточилось. Бросил он школу, связался со шпаной — выполнял всякие мелкие поручения. Смешно сказать, у него в то время одна мечта была — поскорей попасть в тюрьму: со злости на мать, из любопытства. А еще неудобно было: то одного дружка заберут, то второго, а он на свободе — выгораживали они его. В восемнадцать лет женился на соседской девчонке, Алке. Любили они друг друга, но часто ссорились; она ушла от него. Он поступил в мореходку, но и там недолго пробыл — не поладил с комроты. Мать уже работала буфетчицей на китобойце «Муссон», жила с механиком Толей Даниловым, тот взял к себе Сергея учеником. Работал на дизелях «Барнаул» — четыреста лошадиных сил. Потом уехал в Норильск, в совхоз «Потапово» — работал каюром на тралевке леса, возил на собаках бревна для трассы. Дальше — украинские шахты: крепил стойки, лавы разрабатывал... Был проходчиком на дороге Абакан — Тайшет, слесарем на Красноярском заводе комбайнов, рабочим сцены в Хабаровском театре...

К Алке, первой жене, он вернулся во время военной службы. Он служил в десантных войсках, был командир отделения. Случилось так, что на учебных прыжках к нему в строп залетел Витька, Алкин двоюродный брат, — они вместе проходили срочную. Словно судьба к нему в строп залетела! Они тогда приземлились на запасном парашюте... После этого им дали внеочередной отпуск. Витька уговорил его ехать домой. Там Сергею все сразу простили. После службы стали они жить с Алкой отдельно, сняли квартиру.

Первым делом хотелось заработать на свое жилье. А в море не хотелось уходить — привязался к Алке, не оторвать. Что он не делал тогда! Откопегарил на заводе, умылся и бежит в порт: какая у вас есть денежная работенка? Карнизы красил, ассенизационные бочки возил — добывал деньги на кооперативную квартиру. Добыл, а тут мать к ним жить перешла, ее из своего дома выселили. Но это еще ничего. Она его Алку свела с пути, и он раз жену с морячком накрыл — симпатичный парень и много ставил из себя, и Жаба, приятель Сергея, пырнул тогда морячка ножом... Жаба сбежал, а его судили. Он всю вину взял на себя. Адвокат, молодая совсем девушка, прямо со слезами на глазах упрашивала, чтоб он сознался во всем. Но он уже не верил никому и молчал, и суд приговорил его тогда к высшей мере... И когда его везли ночью по пустынному городу: три милиционера с обнаженным оружием сидели в машине, и он думал, что его везут расстреливать, и разговаривал с ними, и шутил, а что он тогда пережил в машине — прямо страшно подумать... Дело неожиданно пересмотрели — Жаба пришел с повинной и все рассказал. Сергею дали пять лет. Алка ему письма писала, он с ней совсем помирился, жизнь ему новая открылась. И вот, когда он из тюрьмы вышел, Алки уже не было — она под машину попала, прямо на улице, бывает же такое...

2

Дождь лил до захода солнца, а потом перестал. Берег открылся уже в сумерках, и они сразу увидели тюленей. В бинокль было хорошо видно, как тюлени подплывают к острову и, отряхиваясь, укладываются на широком галечном плесе — один к одному, головами к воде. Их насчитали

уже с полтысячи штук, а тюлени все ложились, и конца им не было...

Возбуждение охватило команду: Юрка крутил свой магнитофон, в кают-компании возобновилась игра в карты, остальные точили ножи и подгоняли одежду, а повар из каких-то своих тайных припасов сообразил картошку в мундирах, и они смогли подкрепиться перед работой.

Наступил конец суток, время полного отлива.

Кауфман заскочил в каюту. В каюте было двое: буфетчик точил нож, гоня лезвие по слюням на бруске, а Виктор Кадде молился. Он стоял в углу, казавшийся еще ниже в просторной, не по росту одежде, и прижимал к губам маленький серебряный крестик... Сергей хорошо знал этого матроса, и ему было нетрудно догадаться, о чем просил бога Виктор Кадде: он хотел, чтоб жена побыстрее поправилась, выписалась из больницы и успела убрать огород; чтобы дочь выдержала экзамены в кулинарную школу; чтоб промысел оказался удачным и хватило денег до весны, пока судно будет стоять в ремонте; чтоб живым и здоровым вернуться из этого рейса...

Сергей подождал его, они вместе вышли на палубу. Первый бот с ребятами уже отваливал от борта, и Виктор Кадде, проявив удивительную для его возраста ловкость, успел прыгнуть в него. Сергей вскочил в свой бот, а последним прыгнул буфетчик. Он был в спасательном поясе, и это так рассмешило моряков — ни на ком из них спасательного пояса не было, — что они даже не поинтересовались, добыл ли он разрешение у капитана идти с ними (буфетчик считался на судне матросом второго класса, а на ботах ходили матросы и мотористы первого класса), и даже вахтенный помощник, который стоял на лебедке и смеялся вместе со всеми, тоже посмотрел сквозь пальцы на такое нарушение

устава: на камбузе все равно делать нечего, да и пускай сходит, если ему так хочется.

Бот отвалил, на шхуне сразу же погасили огни, только радиорубка была освещена — радист работал на передатчике, и в глухой темноте, наступившей после яркого света, потерялось судно и остров, а радист казался жителем другой планеты.

Сергей Кауфман стоял на руле. Глаза уже приспособились к ночному свету, и он видел передний бот, как он падал между гребней волн и исчезал из виду, только торчали кончики дубин, которые ребята держали в руках, а потом бот взлетал вверх, и он видел лица ребят, освещаемые вспышками папирос, а рулевой, зажав румпальник между колен, откачивал воду ручным насосом.

Над головой сверкало чистое, словно обмытое небо — верный признак непогоды, и явственно проступила звездная карта: и крупные звезды, и мелкие, и такие, которые не увидишь с первого взгляда. Кауфман любил смотреть на звезды и по давней привычке мысленно прокладывал среди них фарватер, оставляя по левую или правую руку то одну, то другую звезду. А впереди — примерно в трех милях — чернел остров Малый Шантар с белой прибойной полосой у берега.

Мотор приятно стучал на свежем воздухе, за кормой оставался гладкий, светящийся от планктона след, было хорошо стоять на ветру, и Сергею Кауфману думалось о разных пустяках. Когда начиналась работа, Сергей успокаивался. Не то чтобы ему нравилась эта работа, но ценил он в ней эту бездумную жадность, с которой она хватает тебя за горло и уже ничего не остается для мыслей о своей неустроенной жизни: работа — сон — работа, и дни летят, и несутся месяцы, и внезапно налетает берег. А на берегу бывают разные разности, которые ты никогда не решишь за

эти два-три месяца, и тут снова налетает море, еще внезапно берега, а у тебя еще все только начинается: с девушкой только познакомился, и деньги еще есть, и даже на лыжах не стоял, и даже в кино не был... Это было чувство неудовлетворенного желания, но Сергей глушил его в себе быстро, потому что ничего не любил доводить до конца,— знал, чем все это кончается. Он и землю любил за эту недоведенность, когда все неопределенно и зыбко, словно в тусклые воровские сумерки, и ни в грош не ставил все ее заботы, и еще он знал, что снова вернется к земле,— дикая сила бродила в руках, ногах, голове, море не могло сломить его, в море он не должен был погибнуть...

Между тем берег был уже совсем рядом и оттуда, заглушая рев прибоя, доносился храп спящего зверя. Они обошли остров с подветренной стороны и стали медленно подходить к берегу. Несмотря на то, что был отлив, вода стояла высоко, как это бывает в пору полной луны. Прибой разбивался на камнях, окатывая бот брызгами и пеной, и в темноте они долго искали узкость между осохших камней, чтобы пристать. Бот ударялся широким, обшитым железной рубашкой носом о камни, а люди прыгали на берег один за другим, исчезая в пене, оскальзываясь на мокрых, оклеенных водорослями валунах, а выше линии прибоя камни были сухие, рубчатые резиновые подошвы сапог прямо липли к ним. Они довольно быстро продвигались в темноте и минут через сорок добрались до гребня, а лежка тюленя была за гребнем, и от храпа зверя глохло в ушах. Одолев гребень, они увидели тюленей, которые лежали на галечном пляже. Прибой бил передним тюленям в морды, они отползали вверх, они не слышали людей из-за шума прибоя. Но тут кто-то из ребят сделал неосторожное движение, а возможно, вожак учуял запах человека. Он закричал, а вслед за ним закричало несколько тюленей. Моряки слышали шум

гальки, растревоженной ластами животных, и плеск — это передние тюлени уже добрались до воды. Тогда помощник выпустил ракету, и они кинулись...

На ботах, курсирующих вдоль берега, включили прожекторы, и в их свете лежка представляла фантастическое зрелище. Была плотная, серая, хрипящая масса зверя, которая ползла к морю, — многие тюлени не слышали вожака и спали, задние налезали на передних и не могли перелезть через них; фигуры людей, бежавших наперерез зверю, утопая по колено в крупной гальке; глухие удары дубин, хруст раздробленной кости и искры от камней, когда бьющий промахивался, и многие тюлени, видя, что им не выбраться к морю, ползли обратно и укладывались на гальке, глядя, как люди подбегают и убивают их...

Через три-четыре минуты все было кончено. Ребята, отбросив окровавленные дубины, сидели на гальке и перекуривали, а несколько человек ходили вдоль полосы лежавших на берегу животных — некоторые тюлени были только оглушены, сейчас приходили в себя и пробовали ползти к воде — и добивали их ударами дубин.

Сергей Кауфман все это время стоял в боте неподалеку от берега — двигун работал на малых оборотах. Теперь, когда лежка была обработана, он подогнал бот к берегу, и тут Юрка Логов, черпая сапогами воду, прыгнул к нему.

— Я посижу тут, — сказал он и сунул в зубы папиросу. Пальцы у него дрожали, он никак не мог прикурить и все щелкал зажигалкой.

Кауфман посмотрел на него.

— Что, Юра? — спросил он.

— Понимаешь... — начал Юрка и выругался. — По первости думаешь, что это охота... А это ведь черт знает что! Весной — там из винтовки, там... А сейчас... — У него был такой вид, словно его самого оглушили дубиной.

— Побудь тут,— сказал ему Сергей.

Он спрыгнул в воду и по воде выбрался на берег. Потом увидел буфетчика и направился к нему.

Буфетчик наклонился над тюленем, который лежал у самого края лежки. Это была большая пятнистая ларга, еще живая. Шкура ее светилась от планктона. Пацан плохо знал дело, и нож у него никуда не годился, он не резал, а пилил тюленя, и тюлень ворочался и млея, раскрывая пасть... Тут буфетчик оглянулся, увидел стоявшего позади Сергея и засмеялся.

— Иди таскай шкуры,— сказал Кауфман.— Толку от тебя...

— Вот это работенка! — захохотал буфетчик.— Я б с тобой поменялся, ей-богу!

Ножи тупились от густого меха, и по всей лежке слышался скрип подбиваемой на брусках стали. Зверобой таскали толстые тяжелые шкуры и укладывали их в бот. Прибой, закручиваясь, гнал на берег кровавую пену и раушки, и прилив стремительно поднимался по гальке, так что туши приходилось все время оттаскивать вверх, к гребню. Распуганное тюленьё стадо крутилось возле берега,— тюлени, высываясь наполовину из воды, смотрели, чем заняты люди, а потом стадо ушло, только раушки плавали, похожие на черных омерзительных птиц, а чайки кружили над ними — сна на этих чаек не было...

Бот Кауфмана загрузили хоровиной, ее было так много, что не хватило трюма, и шкуры взяли на юрок и принатовили к бортам для остойчивости. В первый бот попрыгала команда, их было двадцать человек. В боте Кауфмана уже сидел Юра Логов, а потом к ним прыгнул буфетчик.

— Ну, кого ждем? — крикнул буфетчик, поудобней устраиваясь на хоровине.— Поехали, Кофман!

— Старика возьмем,— ответил ему Сергей.

На берегу стоял Виктор Кадде. Он не успел вскочить в первый бот, потому что бот сорвало с камней прибоем, и рулевой, отрабатывая задним ходом, уже выводил его на обратный курс. Рулевой показывал в сторону Кауфмана: мол, беги к нему...

— Возьмите, возьмите меня! — просил Кадде. Он все еще стоял на берегу.

— Чего ты орешь? — разозлился Сергей. — Залезай быстрее!

Виктор Кадде прыгнул к ним, и они отошли от берега.

— Я на том боте всю весну ходил, — пожаловался старик. — Трудно было взять, что ли?

— Не все ли равно, на каком боте? — усмехнулся Кауфман.

«Воробей, воробей, серенькая спинка...» — опять заныло у него внутри. — Что-то должно случиться, — подумал он. — Может, это предчувствие какое... А что может случиться? Ни черта не может случиться!..»

А далеко впереди, за мысом, горел якорный огонь шхуны.

Бот осел в воде по самый планшир и с трудом выгребался против течения. Они подняли на дубинах полога, но и через полога било так, что они вымокли с ног до головы, а возле бортов и по носу раскачивались такие горбы волн, что временами заслоняли звезды, и казалось, ветер выдувает эти горбы из глубины моря.

Сергей вел бот галсами и чувствовал, как румпальник вырывается из рук, он сжимал его до боли в суставах и зорко следил, чтоб случайный удар не поставил бот лагом, то есть параллельно волне, и не опрокинул его. Он видел первый бот, который шел примерно в ста ярдах впереди и правее его, и различал силуэт рулевого, а ребят он не ви-

дел, они сидели по бортам и на банках, накрывшись брезентом.

Они шли уже больше часа, а остров все не удалялся, и тут неожиданно повалил снег — редкими сырыми хлопьями, и Сергей увидел, что первый бот повернул обратно к берегу. Оттуда пустили ракету, но Сергей не поворачивал, продолжал идти к судну, а Виктор Кадде, Юрка и буфетчик дремали, и он толкнул буфетчика, чтоб тот откачивал воду, — она доходила до горловины картера.

Огни зверошхуны были уже недалеко, как вдруг они ткнулись во что-то. Страшный толчок приподнял нос бота, Сергей, выронив румпель, полетел на головы сидящих впереди моряков, а в следующую секунду бот перевернулся и Сергей оказался под ним. Он пробовал выскочить из воды, но что-то держало его ногу, он рвал сапог и извивался в воде, а потом протянул руку и нащупал железный гак, который выскочил из гнезда и зацепился за ремень на сапоге, освободил сапог и, задыхаясь, чувствуя, что сейчас разорвется сердце, вынырнул...

Вокруг плавали шкуры зверей. Бот перевернулся, но не утонул. Это был отличный хабаровский бот с воздушным ящиком, он лежал на воде кверху килем. Виктор Кадде и буфетчик висели на борту, вцепившись руками в киль, а Юрка плавал у другого борта, ничего не видя от брызг, и что-то искал на ощупь рукой... Он или сдурел от страха, или не знал, что делать.

«Не моряк он, чего ему на флоте? — подумал Сергей. — Сейчас погибнет ни за грош, а потом я буду виноват...»

Загребая одной рукой, Сергей нащупал на поясе нож, вытащил его из чехла и воткнул в корпус бота с такой силой, что лопнула обшивка и лезвие глубоко вошло в доски. Сергей, подтянувшись на рукояти ножа, схватился за киль, потом, перевесившись через киль, поймал Юрку за волосы

и помог ему забраться наверх. Теперь оставалось только выпустить аварийную ракету...

«Все, больше ничего не случится...» — подумал Сергей. А в следующую минуту накат накрыл его с головой и отбросил от бота, и приливное течение поволокло его.

Полушубок был еще почти сухой и хорошо держал на воде, но Сергей знал, что надо побыстрее сбросить его, пока он не промок. Полушубок был новенький, петли на нем были не расхожены и плотно держали пуговицы, Сергей боролся с ним из последних сил... Он сбросил полушубок, и тот обогнал его и поплыл впереди, разбросав рукава, словно маленький мертвый человек, а Сергей принялся стаскивать сапоги, но пальцы плохо слушались его, и он оставил сапоги в покое.

В глотке пекло от морской воды, и была резкая боль в глазах, а язык затвердел и мешал во рту, но если он мешал, значит, жил и служил ему, а то, что уже не служило, не вызывало боли. Это была кисть левой руки — на ней жили только часы, и онемение ползло от запястья к локтю. Сапоги тоже не мешали ему, и кровь — сколько там было литров — гнала холод к сердцу, но за сердце он не боялся. Он вообще ни черта не боялся, и тут он понял, что утонул, что течение несется над ним, и вынырнул, и увидел звезды над головой — сознание оставляло его. Но он не понимал этого, он решил, что все дело в ногах да еще в этих проклятых новых сапогах, которые тянут его вниз... «Смотри на звезды, — говорил он себе. — Если видишь звезды, значит, ты живой...» И когда прибой выбросил его на берег, он все еще двигал онемевшими руками и упирался сапогами в гальку, он все еще плыл и не верил тишине, но когда открывал глаза, то видел звезды и успокаивался. «Звезды есть звезды, — думал он. — Если есть звезды, значит, ты живой и никогда не утонешь...»

Уже совсем рассвело, когда он пришел в себя. Далеко слева Кауфман увидел зверошхуну и решил выйти на траверз ей. Ноги не слушались его, и путалось в голове, он часто садился на землю и глядел прямо перед собой: в его глазах все стояли звезды, и восприятие того, что он видел сейчас, медленно возвращалось к нему.

Он видел глубокий урез морского берега — ровный твердый песок, полосу крупной гальки и бревна. Прилив ушел, но в выдолбах каменных плит осталась вода, на песке валялся высохший скелет краба. За галечным плесом начиналось болото. Сергей шел по белому выгоревшему мху, который был усеян водянистой морошкой и ягодным пометом медведя. Болото расширялось и постепенно переходило в луг, трава доставала до горла, над ней качались зонты дикого укропа, а дальше трава была скошена до самого леса, и сквозь редкие деревья синел воздух.

Лес поднимался по обе стороны распадка. Это был крепкий листвяк, кривой от ветра. Понизу он был покрыт листом голубики — алым, словно свежая кровь, и низкорослыми рябиновыми кустами. С лиственниц летели по воздуху желтые иглы, утки нескончаемым потоком проносились над головой Сергея. Он увидел неглубокую речку, которая таилась в траве, и пошел по ней, разбрызгивая сапогами воду, а потом ему стало тяжело идти, течение убыстрялось с каждым шагом, он услышал шум и поднял голову — речка лилась высоко вверх, разбиваясь на водопады, и он видел, как форель, выскакивая из воды, падала через порог и исчезала в водовороте.

Наверху стоял сарай, срубленный из неочищенных толстых бревен. Возле сарая лежали перевернутые нарты, а через пустой, вытоптаный конскими копытами двор была прокопана траншея для копчения рыбы. Сергей потянул ворота и заглянул вовнутрь — там висели хомуты на

жердях и косы, лежали разошедшиеся колеса, а по земляному полу было разбросано свежее сено — видно, охотник приезжал из Аян косить, подумал Сергей, — а в углу тускло блестело ружье.

Это была ржавая двустволка двадцатого калибра с вертикально спаренными стволами, без ремня. Сергей повертел в руках, потом попробовал перегнуть в стволе — ничего не получилось.

«Чем оно заряжено? Пулей? Картечью?» — Он почему-то не мог верить, что в стволах ничего не было.

Он вышел из сарая, поднял ружье над головой и заглянул в стволы, словно надеясь избавиться этим от мучившего его вопроса. Страшное напряжение нервов и мускулов, которое он испытал в эту ночь, требовало какой-то разрядки... И тогда он вскинул ружье над головой и нажал на курки. Руку рвануло, от выстрела зазвенело в ушах, и что-то посыпалось ему на грудь — это была дробь, которая высыпалась из стволов... Сергей схватил ружье, положил его на колено и рванул изо всех сил. Ружье перегнулось, и дрожащими пальцами он вытащил гильзы... Он понял, что случилось: капсюль сработал, загорелся порох, но гильзы были слабо начинены и, вместо пыжей, переложены тонкими клочками газеты — порох едва смог вытолкнуть заряд из стволов...

Его, наверное, заметили на судне, потому что вахтенный помощник уже ожидал Сергея на берегу, вытащив ледянку на песок. Сергей сел за весла, а помощник, не спрашивая ни о чем, глядел на него, моргая воспаленными глазами.

— Ребята где? — спросил Сергей.

— Там, — помощник показал в сторону острова. — Тебя ищут...

— А остальные?

— Все бы ничего, да только Юрка... Сердце у него слабое...

Сергей промолчал.

— Что у вас случилось? — спросил помощник.

— Налетели на что-то и перевернулись...

— Видно, на кашалота, — сказал он. — Я сейчас двух спугнул, спали на воде... Курить будешь? — спросил он и вытащил пачку «Севера».

— Не хочется, — ответил Сергей.

— Подзалетел ты, Кофман! — сказал помощник, впрочем, без особого сочувствия. — Если с Юркой что случится, дело в суд передадут.

— Плохой он моряк, — сказал Сергей. — Ему только из двустолки стрелять... Что таким на флоте?

— Что тут говорить! — сказал помощник и отвернулся.

На камбузе тяжело пахло копалькой — вареным сердцем и печенью тюленя. Повар жарил копальку на противне и сваливал в тарелки. Кауфман остановился в коридоре. Он хотел кого-то увидеть — нет, не Виктора, не Юрку, что-то совсем другое... «Может, меня бот интересует?» — подумал Сергей.

Бот стоял на трюме, рукоятка ножа торчала у него под левой скулой.

Кауфман даже не взглянул на него. Он остановился, не понимая, что же ему надо, и вдруг увидел орленка. Тот, махая крыльями, уже бежал к нему, подпрыгнул и больно ударил клювом в лицо. Сергей схватил его за клюв и подтянул к себе. «Воробей, воробей, серенькая спинка...»

Он опустил его на колени и стал гладить птицу по спине.

— Ах ты, дурачок, — говорил Сергей, и лицо у него кривилось. — Ах ты... дурачок, дурачок...



1

Н очью зверошхуна подошла к острову Мухтеля. Она стала на якорь в миле от берега, но никак не могла развернуться по ветру — мешало сильное течение. Капитан зверошхуны, лысый больной старик с медалью на ватнике, подергал ручку телеграфа — дал отбой машине, и оглянулся на рулевого. Рулевой дремал, навалившись грудью на штурвальное колесо, — черноглазое нежное лицо его с пухлыми щеками, со светлыми усиками, пробивающимися над верхней губой, улыбалось во сне. Но внезапно какое-то беспокойство отразилось на его лице, рулевой пробормотал что-то, затряс головой и проснулся.

— Сынуля, — проговорил капитан, не за-

мечая того, что впервые называет матроса по прозвищу.— Приснилось чего, а?

— Чудное приснилось,— ответил рулевой. Он глянул в приподнятое окно рубки и заторопился.— Побегу, а то еще ребята уйдут без меня...

— Оставайся: картошки напечем, в шашки поиграем... — попросил его капитан и, опустившись на корточки, почесал спину о рог штурвала.

Рулевой, не ответив ему, потянул набухшую от сырости дверь рубки, вышел на верхнюю палубу и стал спускаться по трапу, кладая подкованными сапогами.

— Глянь-ка! — раздался его молодой звонкий голос.— Картошка проросла — видно, землю учуяла, дура!

Внизу мелькали под фонарями серые фигуры «береговых» — так называли моряков, которые занимались на шхуне засолкой и мездрением шкур, переработкой тюленьего жира и т. п. Вся носовая палуба была уставлена вскрытыми бочками с тюленьим салом. Рабочие, напрягаясь, подкатывали стокилограммовые бочки к фарш-волчку — широкой жестяной воронке с вертящимися внутри ее ножами. Они опрокидывали в дымящую, брызгавшую жиром воронку серые, с запекшейся кровью куски тюленьего сала, воронка втягивала сало вовнутрь, направляя его в жиротопку, — чересчур большие куски выскакивали из нее. Рабочие были в резиновых нарукавниках, их руки, лица, одежда блестели от жира. На трюме работала другая бригада — готовила меховые шкуры на экспорт. На квадратных столах, засыпанных солью, они сворачивали шкуры конвертом. Рабочий брал полиэтиленовый мешок и выставлял его против ветра, так что мешок вздувался пузырем, и опускал пузырь в бочку — белую внутри от парафина. В мешок укладывали меховые конверты и поверху залива-

ли тузлуком — соляным раствором. Люди работали не разгибаясь и не отвлекались разговорами...

— Эй, ребята! Освобождайте побыстрее палубу... — закричал им в микрофон старший помощник. Помощник увидел Сынулю и окликнул его. — Иди переодевайся, — сказал он, — сейчас будем спускать бот...

В каюте никого не было. Сынуля открыл свой рундук и переоделся во все новое — от нижнего белья до сапог. В рундуке стояла винтовка — новенькая малопулька ТОЗ-17, с глушителем. Сынуля получил ее когда-то в подарок за спасение оленят во время лесного пожара. Он погладил ладонью приклад, раздумывая: взять или не взять винтовку с собой. Он слышал, что на острове много диких уток, и хотел испробовать винтовку — еще не стрелял из нее ни разу. И в то же время ему отчего-то не хотелось ее брать. Он закрыл рундук и поискал валявшуюся под койкой «дрыгалку» — березовую дубину с куском чугунной трубы на конце.

Рабочие к этому времени оттащили бочки к борту и перекуривали. Визжала лебедка, промысловики готовили к спуску зверобойный бот. Вскоре широкий пластиковый бот, похожий на ванну, медленно проплыл над трюмом и, стукнувшись килем о планшир шхуны, с плеском упал на воду. Промысловики попрыгали в него с дубинами в руках. Сынуля стоял на корме и, ухватившись руками за привальный брус шхуны, сдерживал летавший на волнах бот, словно норовистую лошадь.

— Ребятки! — крикнул капитан, выскакивая из рубки. — Может, подождете отлива, а? Картошки напечем, в шашки поиграем...

— Куда больше ждать, — недовольно возразили ему с бота. — Засвечает, а там зверя и след простыл... Забыл, как возле Линдгольма было, что ль?

Кто-то сказал:

— Папаше что, он свои червонцы всегда получит...

— Ну, скидывай концы, чего еще? — слышалось в боте.

— Погоди, с инженером надо поговорить... Инженер! Бросай спать, а то пролежень наживешь!

Инженер по добыче зверя — бурят средних лет с простодушным выражением на красивом скуластом лице — высунулся из иллюминатора, запахивая на груди шелковый халат.

— Пойдешь, Бертаныч, что ль? — спросили у него, и все в боте заранее засмеялись, предвкушая потеху.

— Сейчас думать буду, — инженер смеялся вместе со всеми, обнажая до десен крупные выпирающие зубы.

— Не бойсь, Бертаныч! — уговаривали его. — Раз пришел ты к нам, обязательно должен ты медаль заработать... А если будешь в каюте сидеть, откуда ты ее заработаешь?

— Медаль — хорошо, — согласился инженер. — Только я и без медали богатый: дом есть, огурец есть, жинка боком есть...

— «Жинка боком», слышь? Это он «под боком» хотел сказать, что ль? У-ух, молодец! — ржали в боте.

В этом ежедневном подтрунивании над трусоватым инженером не было злорадства, не было даже насмешки; инженер по добыче не получал промысловый пай, он сидел на береговом окладе, и, по мнению зверобоев, трусость его была в порядке вещей: кому охота рисковать бесплатно? Вот если б инженер оказался человеком смелым и ходил на боте вместе с промысловиками, то это сразу бы вызвало подозрения и, пожалуй, уронило бы его в глазах команды...

Бот отвалил — некоторое время в темноте слышались голоса и стук двигателя и мелькали огоньки папирос, а потом все исчезло.

Капитан включил локатор и, пока тот нагревался, спу-

стился на палубу. Пустые кильблоки, доски палубного настила с пятнами засохшей тюленьей крови, грязная мездрильная машина и бочки с салом,— все это было неподвижно, освещено прожекторами и нелепо воспринималось в окружении непроглядного моря, свиставшего и брызгавшего. Сутулясь, заложив руки за спину, капитан обошел шхуну, окидывая все, что попадалось на глаза, беглым, все замечающим взглядом. Он подобрал оставленный мездрильный нож, сбросил с палубы окурки, укрыл брезентом ящик с углем...

Кто-то окликнул его. Это был радист, который принес радиограмму из управления. Управление рекомендовало обследовать восточное побережье мыса Тык, где, по сведениям местных охотников, был зверь...

— Они слушают побасенки местных охотников и не верят мне,— засмеялся капитан.— Охотники увидят десять нерп и кричат об этом по всему побережью... А мы не охотники, нам нужно не десять нерп, разве не ясно?

— Чего вы мне объясняете? — Радист протер носовым платком дорожную запонку на рукаве рубашки.— Я ведь не промысловик... разве не ясно? — передразнил он капитана.

Капитан переминался с ноги на ногу.

— Что же ответить? — спросил радист.

— Скажи, что находимся в поисках лежек...

Мыс Тык, думал капитан. Материковый берег. Грязь, болото... Там зверя и в помине нет. Эти, из управления, видно, перегрелись на пляже... Он знал, что в управлении не доверяли ему. Капитаны тоже недолюбливали его, называли его судно «хитрым». Это были, в основном, молодые капитаны, бывшие помощники на торговых судах, которых привела сюда перспектива капитанской работы. Они не зна-

ли зверобойного промысла, не набили еще руку в тонкостях «экономической политики». Он обвел их вокруг пальца.

На весеннем промысле капитаны наивно сообщали в управление количество добытого зверя, едва ли не с точностью до одной шкуры. А он давал заведомо заниженные результаты, хотя брал зверя намного больше других, — у него были лучшие стрелки, опытные штурманы, новые хабаровские боты с широким винтом и мощным челябинским дизелем — таких ботов на остальных судах насчитывалось несколько штук. У него, наконец, была собственная карта промысловых районов с учетом ежегодной миграции зверя — так сказать, «секрет фирмы», недоступный постороннему глазу... Впрочем, молодые капитаны и не добивались ее, опасаясь, что это могло ущемить их авторитет, к тому же эта карта мало что говорила им... В общем, получилось вот что. Зверя было немного и промысел, как и следовало ожидать, продлили. Появился еще один план, а тюлень уже ушел, и остальные суда, гоняясь за ним, «грели воду» по всему Охотскому побережью, а у него в трюме был запас, которого с лихвой хватало и на добавочный месяц. Он сразу взял два плана и даже перевыполнил их.

Сейчас управление тоже опасалось, как бы он снова не оставил их в дураках. Даже послало к нему специального надсмотрщика — инженера по добыче, который до этого море видел лишь на картинках. Но на этот раз зверя было еще меньше, даже здесь, в закрытом архипелаге Шантарских островов, где были камни и чистые хорошие пляжи. А искать его он не хотел, он выдохся и хотел отдохнуть, но он меньше всего спешил к семье — давно отвык от нее... В письме, которое он получил из дома, жена сообщала, что старшая дочь выходит замуж. Капитан даже рассердился вначале: куда они торопятся, ведь могли подождать, когда он вернется из рейса! Но потом представил, какая сейчас

кутерьма творится там: падает посуда, беспрерывно хлопают двери, кто-то приходит и уходит, кому-то надо улыбаться и о чем-то рассказывать... и вздохнул с облегчением: слава богу, что его там не было...

Капитан поднялся в рубку и склонился над локатором. На экране локатора проступил неподвижный серый силуэт острова Мухтеля, неподвижное море и серое пятнышко на воде — это был бот с промысловиками, он тоже, казалось, стоял на месте... Капитану вспомнилось взволнованное лицо черноглазого матроса, который сегодня впервые ушел на промысел, и он вдруг почувствовал непонятное волнение... Этого паренька он когда-то увидел на берегу, сразу отличил его среди остальных и взял к себе на судно. С тех пор он время от времени наблюдал за ним, этот паренек чем-то запал ему в сердце. Сейчас у него было такое чувство, словно он сам впервые вышел в море, или сына проводил, или еще что-нибудь... «Как ему там? — подумал капитан, сердце у него колотилось. — Прогноз плохой на утро, только б обошлось...»

Он толкнул дверь в жилое отделение, спустился по трапу и направился по длинному узкому коридору — там не было ни души. Под ногами плескалась грязная вода, ее много налилось во время перехода, а умывальники были пустые: все питьевые цистерны были заполнены жиром, для камбуза воду привозили с промысла. Из раскрытой сушилки доносился душный запах жировой робы и нагретых резиновых сапог — все это было набросано как попало; спасательные жилеты тоже валялись здесь. Капитан хотел было позвать уборщика, но не сделал этого, и с неожиданным удовольствием сам навел в сушилке порядок, а потом взял швабру и убрал коридор. Он стоял в коридоре, не зная, какую бы еще найти себе работу, и в это время раздался удар на камбузе. Капитан направился туда.

По камбузу была разбросана картошка, которая высыпалась из опрокинутого мешка. Буфетчица дремала возле гудящей плиты, уронив руку с зажатым в ней столовым ножом. Это была нестарая одинокая женщина, одна из тех немногочисленных женщин, которые еще работали на зверобойном промысле. Капитан опустил на корточки и стал собирать картошку. Буфетчица шевельнулась во сне, и что-то упало капитану на руки. Это была женская серьга, медный ободок с крохотным хрусталиком... Капитан с минуту молча разглядывал его на ладони — все замерло в нем от какого-то мучительного молодого чувства, которое внезапно охватило его...

И капитан вдруг вспомнил жаркие доски яхт-клуба, запах белил от больших весел в углу; пьешь лимонад, отмахиваясь бутылкой от ос, потом вниз по лестнице, лавируя в духоте обнаженных тел, и — ух! — в прохладную тень от паруса; руль до отказа, широко расставляешь ноги, чтоб не упасть, а на носу сидит девушка, ты протягиваешь ей недопитую бутылку, она запрокидывает голову, и ты видишь ее длинную нежную шею, солнечный свет внезапно ударяет тебе в глаза — это гик отлетает к борту, выбивает бутылку у нее из рук, и ты ныряешь за ней, и тебе хочется хохотать под водой...

— Картошки сейчас напечем,— проговорил капитан, радостно улыбаясь, дотрагиваясь своей маленькой волосатой рукой до ее большой, перевитой вздувшимися венами.— Картошки напечем... в шапки поиграем...

В море играла крупная зыбь, и бот, который шел на промысел, как щепку бросало на волнах. Он то взлетал на гребень волны, то стремительно падал — в тишине раздавался

стук черпака, которым рулевой сливал воду. Эта болтанка создавала иллюзию быстрого хода, на самом деле бот едва продвигался против течения — делал за час не более пяти-сот метров. Сейчас он находился на полпути к острову, на котором было лежбище тюленей.

На банках и по бортам, плотно придвинувшись один к одному, зажав дубины между колен, сидело человек двадцать команды. Сынуля сидел между старшим помощником и пожилым бородатым матросом с брюшком, которые дремали, свесив головы набок. В воздухе было темно — хоть глаз коли, на корме светился азимутальный круг компаса, а в небе чувствовалось движение облаков, и временами в разрывах облаков проглядывала луна, медно отсвечивая на зыби.

Сынуля смотрел вокруг себя весело блестящими глазами, поворачивался к ветру, чтоб остудить пылающее лицо, нетерпеливо ерзал на банке, порываясь что-то делать, о чем-то говорить. Несмотря на то, что он впервые шел на промысел и давно жил ожиданием этого дня, он сейчас мало думал о предстоящей работе. Его волновало, что он теперь на равных сидит в боте с промысловиками, носит при себе нож и ракетницу, что он может теперь небрежно говорить: «Мы — промысловики», хвастаясь этим перед «береговыми», радовался тому, что будет ночью уходить в море на маленькой посудине, не зная, вернется или не вернется обратно, — словом, жить жизнью тех людей, которым прежде так остро завидовал... Теперь, позабыв прошлые обиды, Сынуля был готов любить их всех, а также, что казалось ему особо значительным, получить право на то, чтоб они полюбили его самого.

Резкий толчок, едва не опрокинувший бот, расшевелил-таки сонную команду. Сосед Сынули, пожилой бородатый матрос, вытащил из портсигара папиросу, закурил — тускло

блеснуло обручальное кольцо на его худой руке — и сказал, посмотрев на луну:

— Недавно родилась — с неделю, не боле... Теперь жди непогоды...

— Как раз на переходе даст,— откликнулся старший помощник — стройный, похожий на подростка мужчина с круглым лицом, на котором блестели мокрые усы.

— Если не снимут в этом месяце с промысла, то не успеем мы лиманом пройти,— вступил в разговор еще один, судя по голосу, молодой матрос.— Сколько еще до плана осталось — слышь, плотник? — спросил он.

— Одна тысяча восемьсот две штуки,— ответил тот.

— Езус Маруся! Месяц назад говорил: «тысяча» и теперь — «тысяча»... Да пока мы план подберем, закроют лиман!

— Все одно не успеем: радист говорил, что в лимане уже буи снимают. Вчера, говорил, ушло последнее лопцманское судно — вот как...

— Неужто вкруговую пойдем, через Лаперузу? — заволиновался бородатый матрос.— Это ж сколько мы будем тогда домой идти при своей машине...

— Через лиман пойдем, куда еще? — вмешался помощник.— Капитан без лопцмана проведет: он в лимане каждый окуроч знает.

— Папаша не торопится — ему на пенсию в этом году...

— Как раз тебе, Сергеич, на его место заступить,— не без подхалимства заметил пожилой матрос.— Народ за тебя...

— Образование у меня всего на двадцать пудов¹,— воз-

¹ Имеются в виду штурманские курсы, дающие право работать на маломерных судах водоизмещением от 20 до 200 регистровых тонн.

разил помощник.— Так что ничего, Борис Иванович, из этого не выйдет.

Они помолчали.

— Лучше б я на селедку пошел,— снова заговорил бородатый матрос, которого называли Борисом Ивановичем.— Слышал я, что в этом году там копейка хорошая.

— Зато работа там, мать ее в доски... Таскаешь стокилограммовые бочки: с СРТ к себе на палубу, с палубы — на ботдек, с ботдека таскаешь на мостик, с мостика — в трюм... Потом торчишь с неделю возле плавбазы — ждешь разгрузки, а тут у тебя селедка испортилась: щечки покраснели... Бросаешь ее за борт — вот и работа...

— Одно слово — бесхозяйственность... Езус Маруся! Да такую селедку, что они выбрасывают, на западе с костями б сожрали...

— Э-э, не говори... Баба моя с запада, а селедку в рот не берет,— возразил Борис Иванович.

— Зато тебя, старую воблу, крепко за жабры держит! — засмеялся молодой матрос.

— Ты язык-то прикуси, дурак! — обиделся Борис Иванович.— Червонец на стоянке из пинжака вынул, а скалишься...

— Я ж тебе сам сказал, что вынул! Придем в город, сразу отдам.

— Дождешься от тебя...

— Чтоб мне утонуть, как отдам...

— Вот придем в Находку на сдачу,— не слушая его, мечтательно проговорил Борис Иванович.— В тот же день отпрошусь у Сергееича, сяду на поезд и к бабе своей ранехонько... Застигну я ее нараз...

— Изменяет? — поинтересовался помощник.

— Прямо сам не знаю,— растерянно проговорил пожилой матрос.— Отсюдова и интересно мне...

— Вот Сынуле тяжелей,— засмеялся помощник.— Пока до своего колхоза доберется...

— Я не колхозный, я егерем работал в заказнике,— ответил Сынуля, довольный тем, что его, наконец, заметили.

— Не все ли равно...

— И где тебя капитан отыскал такого?

— В столовой познакомились, во Владивостоке. Я по вербовке приехал, на городскую стройку. А он говорит: иди ко мне, место есть...

— Эй, смени рулевого! — приказал помощник пожилому матросу.— Остров уже должен быть... Видите чего?

Сынуля глянул перед собой и ничего не увидел, но вскоре его зоркие охотничьи глаза нащупали справа горбатый верх острова, неясно проступивший в темноте, и линию прибоя внизу — шум прибоя накатывался волнами. Сынуля подался вперед и внезапно почувствовал теплое дыхание земли, смешанное с запахом некошенной травы и вянущего клевера... Он даже растерялся от неожиданности и недоверчиво спросил у помощника:

— Неужели к земле идем?

— Ты что, проснулся? — засмеялся тот.— Или не видел по карте?

— Так то ж по карте,— ответил Сынуля.— А все не верилось, что взаправду!

— Слышь, Борис Иванович,— обратился помощник к пожилому матросу, который был теперь за рулевого.— Замечай: там два валуна будут. За пять метров бот задом к волне поставишь — аккуратно между камней на берег выкинет.

— Знаем, не первый день замужем,— ответил тот и каблуком сапога плотно насадил на перо руля румпальник.

— Спасательные жилеты опять не взяли? — спрашивал помощник.

— Толку от них! — возразили ему. — Только чайкам будет клевать удобней...

— Ладно, ладно... Смотри, старик, не проморгай, — напомнил он рулевому.

Сынуля тоже забеспокоился, подумал, что сапоги тесны ему, — он носил две пары шерстяных носков вместо портянок, — и, если опрокинет бот, сапоги будет трудно сбросить в воде. Но испуг этот вскоре прошел, уступив место волновавшему его теперь ожиданию земли. Он вспомнил, что приснилось ему сегодня на вахте: будто он с дедом собирал на этом острове грибы...

До боли в глазах всматривался Сынуля в приближающийся берег, и то, что открывалось впереди, так похоже напоминало родные неблизкие места его, что уже представлялось ему, будто не в море он, а плывет сейчас по реке, выгребая к деревне. Вот засветится на повороте фонарь и станет видна паромная переправа и пассажирский пароходик под берегом — он останавливается у них до утра, потому что вся команда местная, из их деревни. Инвалид-паромщик переобувается возле лебедки, ловко завертывая одной рукой портянки. Щеголеватый речной механик поднимается по раскисшей дороге, помахивая фуражкой. Его обгоняют девки на велосипедах — они едут, хватаясь руками за плетень, чтоб не свалиться в грязь. И этот механик, и девки, которые едут на вечеринку, и паромщик, и Сынуля, — все они хорошо знают друг друга. В свежем воздухе далеко разносятся их голоса.

Сынуля слышит Танькин смех и думает о том, как они встретятся сегодня на танцах. А потом они с механиком будут выяснять отношения на улице. Драки не будет, одни

разговоры, имеющие целью убедить противоположную сторону в том, что она не имеет права провожать Таньку домой. Если красноречивее окажется Сынуля, то всю ночь они просидят с Танькой, обнявшись, возле гумна, а если победит речной механик, то он займет место Сынули. В этом тоже нет особой печали — хоть отоспится Сынуля по-настоящему... За клубом — переулочек, такой узкий, что задний борт идущей машины почти занимает всю его ширину. В конце переулка егерская усадьба, пятистенная изба с палисадником, с грязным мотоциклом у ворот — приехал из области инспектор. Сынуля снимет в сенях ружье и сырые сапоги и направится в большую половину. В прихожей моет полы мать, твердо, по-мужски нажимая босой ногой на голяк; половицы изгрызены бобрами — жили в доме весной, в паводок... Большая половина залита электрическим светом, на столе дымит в мисках кутья, посверкивает водка в зеленых бутылках. Там сидят инспектор и отчим, старший егерь, одетый по случаю приезда начальства во все солдатское, при медалях. Егерь рассказывает инспектору про войну. На печи лежит дед — сухонький, без бороды, глаза у него закрыты, руки сложены на груди... Егерь, прервав рассказ, лезет к нему, звеня медалями, и, задержав дыхание, прикладывает ухо к груди старика. Потом он возвращается к столу. «Водит старика смерть за нос, — говорит он, — то вопьется, то отпустит... Если помрет, так не раньше спаса...» — «К спасу не помру, — неожиданно возражает с печи дед. — Во поле надо работать, одним бабам не управиться». — «Осенью помрешь?» — спрашивает егерь и подмигивает инспектору. «Осень тоже переживу, — строго говорит дед. — Новые стропила надо ставить в коровниках. Грибов соленых понюхать хочется... А вот к покрову — тогда, пожалуй, и отойду...»

«Чего это он мне сегодня приснился с грибами? — раздумывал Сынуля, и у него сжимается сердце.— Живой ли он хоть?..»

— Ну,— сказал помощник и стал на носу бота, удерживая в руках тяжелый якорь.— Теперь не зевай...

3

Борис Иванович умело подвел бот к намеченному для высадки месту и развернул его по гребню волны, крепко обхватив руками румпальник. Прибой обрушился на корму — бот, словно пуля, вошел в узкий, шириной в сажень, проход между осохшими камнями, дернулся на якорь, но волна тут же ушла из-под него, и бот бессильно упал на берег, зарываясь бортом в намытую гальку. Промысловики попрыгали из него и быстро отволокли бот выше по берегу, чтоб его не утащило в море. Здесь было устье реки, забитое галькой и валунами. Промысловики пересекли устье и морским берегом направились в обход острова. Выветренные каменные столбы в 300—400 футов высотой окружали их, из расщелин извергалась сдавливаемая прибоем вода, далеко впереди слышался шум птичьего базара. Моряки лязгали дубинами, сталкивались один с другим в темноте, переругивались вполголоса. Нога неожиданно нащупывала обрывистый край расщелины, впереди идущие наобум прыгали через нее, не зная, достигнут противоположного края или нет, задние устремлялись за ними, не выжидая,— все торопились побыстрее добраться до лежки тюленя.

Сынуля как будто не вполне понимал, что он на земле,— его неожиданно замутило после морской болтанки. К тому же он не умел ходить по камням и сейчас был больше обеспокоен тем, чтоб не отстать от остальных. Еще отвле-

кала боль в руке: прыгая с бота, он в спешке столкнулся с матросом и порезался о лезвие ножа, который у того вылез при толчке из ножен. Сынуля то и дело зализывал на ходу рану языком, но боль не утихала, и, не выдержав, он свернул к ручейку, шум которого раздавался в нескольких шагах. Он опустился на колено и сунул в воду порезанную руку, но ее отбросило в сторону и будто ошпарило кипятком — такой холодный и быстрый был этот ручеек. Тогда Сынуля лег животом на валун: пришла фантазия хлебнуть из ручья, но у него так рвануло во рту, что он чуть не задохнулся... Он пригладил мокрой рукой волосы и поднялся довольный — будто поиграл с кем в веселую игру...

«Ручеек здесь есть, — удовлетворенно подумал Сынуля. — Видно, и березы есть, подсолнухи... Может, и грибоварня какая-нибудь...» Он вспомнил, как однажды их с Танькой застал на охоте дождь и они бежали от него в березовую рощу, а дождь был такой сильный, что мешал бежать, впереди ничего не было видно, они натыкались на деревья и вымокли до нитки, пока вскочили в пустую грибоварню.

В грибоварне было темно и горячо от парного духа ливня.

Им было видно в открытую дверь, как хлещет дождь, и слышно, как он стучит по днищам лодок, которые были прислонены к стене грибоварни; березы туманно белели на лугу, а между березами всходило солнце, оранжево окрашивая все вокруг, — солнце было таким близким, что, кажется, до него можно было достать из рогатки... Танька, повернувшись к нему голой спиной, отжимала мокрое платье, а он разрядил ружье и, оглянувшись, опустился на березовый чурбак, который лежал у двери. Чурбак вдруг дернулся под ним, загремел колокольчиком и, взбрыкивая кучерявыми от росы ногами, припустил к деревне... Это

был маленький теленок, черно-пестрый, будто родившийся от этого леса, и Сынуля растерянно смотрел на него и на деревья, не веря своим глазам: ему вдруг показалось, что это были не просто теленок и не просто березы, а будто только что он был свидетелем какой-то удивительной тайны, которую ему во веки веков не дано разгадать...

— Я думал, ты свалился куда-нибудь, — сказал, подходя, помощник. — Ты чего?

— Я сейчас... — заторопился Сынуля. — Ручей тут... подсолнухами пахнет...

— Подсолнухами? — удивленно переспросил помощник. — Больной ты, что ль? — засмеялся он.

— Здоровый я, — обиделся Сынуля.

— А я как больной сейчас, — признался помощник. — Вот так всегда у нас: приходим к земле — темно, уходим — темно, будто во сне все это...

— А мне знаешь чего сегодня приснилось? — спохватился Сынуля.

— После расскажешь... — Штурман глянул вверх: — Небо заволокло, рассвет будет небыстрый... Ну, пошли...

...Гора Мухтеля, опоясанная низкорослым лесом, была уже в каких-нибудь трехстах шагах. Здесь морской берег поворачивал, косо восходя на широкий галечниковый гребень, за которым и было лежбище. Промысловики, подтягивая дубины, по-пластунски поползли под уклон, на ходу освобождаясь от ватников. В воздухе били крыльями птицы, закладывал уши неумолчный гул птичьего базара. Он был на вершине горы, и сверху на ползущих сыпались помет и перья, которые забрасывало ветром. Достигнув гребня, они осторожно глянули вниз — широкая тень, падающая от горы, скрывала верхнюю часть лежки, а на открытой стороне зверя не было, лишь тускло блестела укатанная галька...

— Неужто ушел тюлень? — испугался Борис Иванович.
— Куда ему идти? Море вон как штормит — не его по-
года, — возразил помощник.
— Где ж он тогда?
— А хрен его знает!
— Езус Маруся! Такое место — хоть самому ложись...
— Вон они... — ошалело проговорил Сынуля. — Вон
они — ползут!

В ту же минуту под самым носом у них раздался тягучий горловой крик тюленьего жожака. То место, которое было закрыто тенью, будто пошло волнами: там слышались хрипы, стоны, тяжелая возня поднимающегося зверя. Вскоре на светлую половину лежки вырвалась серая масса животных, которые неуклюже скатывались к воде...

Сынуля, который мчался впереди всех, подхлестываемый веселым охотничьим азартом, вскоре настиг большого головастого тюленя, который тщетно пытался перетащить через валун свое тяжелое тело. Сынуля взмахнул дубиной, но промахнулся.

Тем временем тюлень, обойдя валун, уже вскакивал в воду, но Сынуля успел схватить его за ласты. Тюлень рванулся изо всех сил, и Сынуля не удержался на ногах, и упал, и оба они — Сынуля и тюлень — оказались в воде. Тюлень бил передними ластами, поднимая фонтаны брызг, извивался, выворачивая матросу руки, — он был очень красив, этот большой, неизвестный Сынуле зверь... Такого зверя Сынуля не мог упустить, и он боролся с ним до конца, и зверь стал выбиваться из сил, и Сынуля, задыхаясь от радости, выволок его на гальку... Тюлень перевернулся на спину, закрывая ластами усатую морду, но ударить его Сынуле так и не пришлось: зверь вдруг закатался по гальке, потягиваясь, судорога прошла по его телу... Сынуля наклонился над ним, увидел блестящий тюлений глаз, заты-

гивающийся серой пленкой, и испуганно отшатнулся. «Чего это с ним? Чуть не утопил меня, а я его ни разу не ударил, ни разу...» — растерянно подумал он, чувствуя, что случилось что-то ужасное, и будто перед кем-то оправдываясь. Радостное возбуждение, которое охватило его еще в боте и которое только что опять было вернулось к нему, теперь угасло, и Сынуле — как в первые минуты, когда он ступил на землю, — стало нехорошо, тошнота подступила к горлу...

То, что Сынуля видел вокруг, неожиданно поразило его полной несхожестью с той картиной, которую он мысленно рисовал в своем воображении, когда они в темноте шли к острову, то есть несхожестью с тем краем, где он вырос, и который, казалось, сразу, как только открылись у него глаза, воспринял как нечто чрезвычайно удобное и вполне устраивавшее его на ближайшую тысячу лет... Но не эта несхожесть пугала его, а незащищенность этих мест, куда можно придти среди ночи и делать, что хочешь, и на много верст кругом не встретишь егеря, обходчика с фонарем...

И, казалось, только сейчас, стоя на этом пустынном морском берегу, Сынуля окончательно поверил, что его теперешняя жизнь — не выдумка, что далеко забрался от родного дома и не скоро вернется туда, потому что там уже нет Таньки, потому что мать вышла за другого; потому что он теперь промысловик, а лежит перед ним этот тюлень и это море — и уже ничего нельзя поправить...

— Сынуля, ну как ты? — спросил, подходя, старший помощник. Он держал в руках бочонок для воды.

— Я ведь ни разу его не ударил, — проговорил Сынуля. — Почему же так?

— Это у него от разрыва сердца случилось, — объяснил помощник. — Морской заяц это...

Сынуля побрел к боту, который штормовал неподалеку под прикрытием мыса. Он шел, заслоняясь рукой от ветра, который сильно дул со стороны моря, перекатывая гальку. В боте места вдоль бортов были заняты, а на банках, переполнив трюм, пластами лежала хоровина. Сынуля уселся на неостывших шкурах, поджимая к подбородку колени,— его трясло всего. Никто из промысловиков не обратил на него внимания.

— Если еще раз на этих зайцев наскочим, план нашим будет,— весело говорил плотник.

— Посмотрите, куда папаша отошел! — закричал вдруг молодой матрос, показывая на море. — Езус Маруся... Сдурел он никак: нам теперь к нему за сутки не догрести!

— Дрейфует шхуна,— присмотревшись, заметил Борис Иванович.— Никак подорвало якорь, а?

— Папаша еще наломает дров: или судно утопит, или мы потонем из-за него...

— Не каркай,— осадили его.— А то еще в руку выйдет: волна вон какая пошла...

Сынуля тоже посмотрел вперед: там на секунду просквозило солнце, но его сразу же заволокло большой тучей, а море лежало открытое до самого неба — белое, вздымающееся широкими, параллельными рядами... Сынуля снова вспомнил про свои тесные сапоги, но не стал переобуваться.

— Сергеич, глянь, какое дело: якорь у папаши подорвало... Как дойдем теперь, а?

Помощник передал бочонок с водой. Залезая в бот, он мельком глянул на шхуну, но сказал совсем о другом:

— Почему паренька наверх посадили?

— Это ты про Сынулю, что ль?

— Ясно, не про тебя... Видишь, нездоровится ему...

— Слышь, Сергеич,— обратился к нему молодой мат-

рос.— Я так думаю: вся зараза на флоте от стариков и крестьян... Гнать их надо в три шеи!

— Не со страху это у него, дурак! Переживает...

— Переживает?!

— Сынуля,— сказал помощник.— Подсолнухов там нет, соврал ты насчет подсолнухов... Зато брусники много. Держи... — Он вытряхнул из кармана пригоршню крупных багрово-красных ягод.— У вас такой на западе нет...

— Вот бурундучок — мизерный зверушка такой,— вдруг торопливо заговорил Сынуля, умоляюще хватая помощника за руки, чтоб тот выслушал его,— забережь у него орехи, а он плачет так жалобно и лапками себя бьет по лицу, и бьет, и бьет...

Промысловики, раскрыв рты, изумленно уставились на Сынулю. С минуту никто не сказал ни слова.

— В самом деле, переживает он, братцы,— нарушил молчание Борис Иванович.— Сергеича всегда слушай: он правду говорит...

— Сынуля переживает, слышь? — раздалось со всех сторон.

— Хотел ягод нарвать, а ему не разрешил Сергеич...

— Вишь, палец порезал... Может, из-за этого?

— Обиделся он, что места не дали возле борта...

— Не-е, это он из-за бабы переживает...

— За бабу не переживай,— веско сказал Борис Иванович.— Эти, что с запада, не в пример нашим — по своей знаю... И до сих пор чудно мне от этого...

— Не переживай, браток! — растроганно проговорил молодой матрос и поднялся, уступая Сынуле место. Рослый, с загорелым грубым лицом, в голландке и широких штанах, свешивающихся через голенища сапог, он обнял Сынулю за плечи, потом вытащил из чехла зверобойный нож и протянул ему.— Бери на дружбу! — торжественно сказал мат-

рос.— Товарищ ты мне теперь: и на земле, и на воде жизни за тебя не пожалею...

Сынуля принял подарок, доверчивой улыбкой отзываясь на добрые слова. Эти слова словно перевернули ему душу. И казалось, все, что скопилось в этой душе за всю его жизнь, разом отодвинулось по сторонам, а посреди разгорались теперь эти прекрасные слова дружбы... Сынуля смотрел перед собой радостно заблестевшими глазами, а потом почувствовал какой-то свет за спиной и, не выдержав, оглянулся назад: над островом Мухтеля торжественно падал первый снег...



Бот опрокинуло волной неподалеку от берега. Человек пятнадцать моряков и девушка-фельдшер, которые сидели в нем, бросились к берегу вплавь.

Первым выбрался из воды механик, потом рулевой, а затем и все остальные. Последним был старший помощник — он вывихнул руку, к тому же почти не умел плавать и едва не утонул. На берегу механик затеял перебранку с рулевым: механик обвинял рулевого в том, что бот перевернулся. Рулевой нехотя огрызался — он сидел на корточках у самой воды и потрошил папиросы, вытряхивая на газету подмокший табак. Остальные моряки занимались кто чем.

Помощник сидел на валуне и стаскивал тесные сапоги — эта работа стоила ему по-

следних сил. Помощнику было скверно: ныла рука, но еще больше разболелись от холодной воды ноги. Боль была такая, что он не знал, куда себя деть, прямо слезы выступили на глазах. Сапоги он стащил кое-как и теперь оглядывался по сторонам, стесняясь развернуть портянки... В прошлом году, после отпуска, он добирался к месту промысла на пассажирском теплоходе, и судно по дороге загорелось. У него на ногах сгорели резиновые сапоги, но он долгое время не чувствовал боли. Даже когда в числе других пострадавших летел на материк. В вертолете его смущало присутствие молоденькой медицинской сестры, которая без конца поливала ему ноги водой, — куски запекшейся с кожей резины дымились... Боль пришла на операционном столе. Врач сказал: анестезию делать не будем, вам надо все время чувствовать боль, чтоб бороться, — иначе не выдержит сердце... Операция была страшная. Он лежал под прожектором, вцепившись зубами в подушку, чувствуя, что, если выпустит ее, будет кричать... Его даже упрашивали, чтоб кричал, но он постеснялся: в палате были женщины, а он моряк все-таки...

Бот плавал кверху килем саженьях в двухстах от берега, но расстояние это незаметно уменьшалось — шло приливное течение. Прибой время от времени выбрасывал что-либо из перевернутого бота: топор, ведро, банку с пиротехникой... Выбросило и термос с кипятком — прямо к ногам рулевого. Тот взял термос не глядя, будто до этого нарочно положил его возле себя, и протянул механику:

— На, выпей, чтоб зло отлегло...

Механик, который совсем было успокоился к этому времени, снова взбунтовался: оттолкнул термос, пролив кипяток себе на руки, заорал на рулевого:

— Иди поймай бот!

— Пусть его белый медведь ловит,— отмахнулся рулевой.

Механик, матерясь, бросился к старшему помощнику:

— Пиши докладную в управление! — закричал он. — Уснул рулевой, и бот перевернулся из-за него...

— Какая еще докладная! — досадливо отмахнулся помощник. — Слышь, не кричи так... — попросил он, морщась, придерживая ушибленную руку.

— Не кричи... А если б он людей утопил, тогда как? — не отставал механик.

Помощник поднял голову и внимательно посмотрел на него.

Механик был великан — старик двухметрового роста, с широкой бородой, с румянцем во всю щеку. Одет он был точно по инструкции: непромокаемая куртка, нагрудник, специально разбитые на колодках новые сапоги, которые в случае чего можно было легко сбросить в воде... Он был словно заранее готов ко всему... «Ты б уж точно не утонул», — подумал старший помощник. Он отвернулся от механика и поискал взглядом по сторонам.

— Куда это фельдшерица девалась? — спросил он.

Девушка находилась неподалеку. Она выжимала мокрое платье, захватывая подол горстями, — вода брызгала ей на голые ноги. Сапоги стояли рядом, отжатые портянки были по-солдатски обвернуты вокруг голенищ...

Помощник, так и не выкрутив портянок, снова натянул сапоги и подошел к ней.

— Не испугалась? — спросил он.

— Сама ведь напросилась... Голова кружится — от тишины, видать... Тихо как тут!

— Положено, чтоб здесь тихо было, — ответил он. —

А вон оно как получилось... Эта бухта называется Тихая, в лоции записано...

— Видишь как...— словно удивилась она и снизу вверх посмотрела на помощника.— Что это у тебя, вывих? Дай руку, я тебе вправлю сейчас...

— Вот спасибо... Я тебе мужа хорошего сосватаю...— пообещал помощник.— Беременная ты, Лилька, что ль? — спросил он вдруг.

— Уже восьмой месяц... — Она неловко оправила платье.

Фельдшерица была молоденькая девушка, лет девятнадцати. Лицо ее — круглое, с выпуклыми, словно готовыми пролиться капельками синих чернил, глазами, сизые от холода ступни, величиной с детскую ладошку, обрисованная мокрым платьем грудь, нелепо торчавшая из распахнутого грубого ватника, — все это трогательно и незащитно открывалось взгляду... Помощник загляделся на нее.

Эта девушка работала у них на судне с весны, а до того служила в армии — медсестрой в санчасти, и, как теперь припоминал помощник, говорили, что случилась у нее там несчастная любовь, и вроде эта любовь так подействовала на нее, что она даже пробовала покончить с собой... Девушка была робкая, пугливая, но работу свою делала исправно. Впрочем, работы у нее почти никакой не было, поскольку болезни среди моряков — явление редкое, и большую часть времени она проводила запершись в каюте, стараясь никому не показываться на глаза. За все эти месяцы помощник видел ее несколько раз мельком, а теперь у него было такое чувство, будто он ее вообще видит впервые...

Они даже не слышали, как матросы выловили бот и с криками потащили его по малой воде. Когда помощник и

фельдшерица подошли, бот уже стоял на плаву, но что-то у них не ладилось с двигателем. «Видно, штуцер сломали», — решил помощник.

Штуцер сломался, к тому же обломок его попал в фильтр. Теперь надо было снять фильтр, чтоб вытащить обломок. Ключи утонули, отыскалось долото. Гайки замерзли, ни одна не откручивалась. Механик орал на всех. Он вырвал у рулевого долото, чтоб сделать все самому, но с первого же удара расшиб себе молотком палец, заматерился и отошел. В конце концов сладили с обломком, нашелся и запасной штуцер, но в спешке его уронили в трюм. В трюме было полно солярки, матросы шарили руками по доскам, мешали друг другу.

Достали штуцер, но тут куда-то запропастились прокладки от форсунки. В сердцах попробовали запустить двигатель без этих прокладок — солярку разбрызгивало фонтаном... Надо было довести работу до конца, но все вдруг отступились от нее. Какое-то оцепенение охватило команду: все сидели по местам и ничего не делали.

Только радист не терял присутствия духа. Его, казалось, вообще мало интересовало происходящее. Это был человек, настолько преданный своей профессии, что, кроме нее, уже ничто не могло его заинтересовать. На судне очень удивились, когда радист вдруг пожелал отправиться со всеми по ягоды. А ему были нужны не ягоды, а возможность подумать в тишине над проблемой, занимавшей его уже несколько недель: как отремонтировать испорченный локатор? Он и сейчас не терял время даром: расстелив схему локатора на коленях, что-то отмечал карандашом и беспрерывно дул на озябшие пальцы. Это был парнишка в форме курсанта мореходного училища — щуплый, с белыми редкими усиками, с косичками давно не стриженных волос на затылке...

— С локатором нелады,— сказал он.— Всю ночь грел его — ни кругов, ни развертки... Хорошо еще, что в эту бухту вскочили...

— Разве не учили тебя?

— Мы этот локатор проходили в общих чертах... Такие локаторы сейчас мало где есть, списаны давно...

— Нет, ты скажи, старпом: чего они в управлении думают? — заволновался артельщик, пожилой, сухонький, в ватнике с воротником из невыделанной тюленьей шкуры.— Разве можно на этом судне в такую погоду ходить?

— Вот придем в город, там и скажи,— посоветовал ему помощник.— Может, тебе лайнер на промысел дадут...

— Лайнер! Только крикни в городе — со всех лайнеров на это корыто сбегутся...

— Верно, оплата не та на лайнерах...

— Напугался я вчера, когда капитан переодеваться стал. Вижу: нижнее надевает, новое... Ну, думаю, крышка! А тут как раз руль заклинило...

— Капитану положено при аварии быть в лучшем виде... А вот механик так перепугался, что до сих пор «хомут» не снимает!

— Где это он? — оглянулся помощник.

— Ушел, даже не заметил никто.

— Наверное, в тайгу пошел, за листовяком...

— Зачем ему?

— Колья рубит для изгороди... Говорил, что надо огорожу новую ставить вокруг дачи...

— Во дает! Тут бот перевернулся, а ему огорожа! — удивился рулевой.

Помощник сунул руку в карман суконных штанов и нащупал ключи от городской квартиры. Ключи остыли

на холоде, прямо жгли бедро. Помощник переложил их в карман ватника.

— Так и будем сидеть, что ль... Старпом! — обратился к нему.

— А тебе что, на судно захотелось? — спросил он, и все посмотрели вперед.

Шхуна стояла посреди бухты, сильно накренившись, и был виден ее побитый во льдах корпус со следами облупившейся краски, рубка с выдавленным стеклом, длинная мачта, рывками отмечавшая удары волн, и помощник вдруг до физической боли ощутил, как свистит там в оттяжках ветер, как перекатываются бочки в трюме, как скрипит разошедшееся дерево...

«Подождем солнца, — решил он, — а там видно будет».

Восход, наверное, запоздал и теперь спешно наверстывал упущенное: только что небо и вода были тусклые, без света, как вдруг что-то зажглось на востоке, ниже линии горизонта, а потом оттуда вырвался сноп солнечных искр — словно кто-то выстрелил из глубины моря трассирующими пулями. Свет стремительно расходился в длину и вверх, и, проследив за этим несущимся по небу светом, моряки увидели берег, который, кажется, только сейчас предстал перед глазами. Это был эффект кратковременной зимы, когда она внезапно грянет на исходе осенних дней, но не исказит их красоты, а лишь добавит живости: лес стал еще просторней и просматривались насквозь ряды неосыпавшихся лиственниц, словно подернутые желтым инеем, а обугленные огнем мертвые деревья, которые стояли у самого края, были все в снегу и неожиданно воскресли для взгляда в образе неизвестных этому месту берез, и было видно пять озер: первое озеро стояло в распадке среди леса, с накренившейся к морю водой, исцарапанной рябью, и четыре озера — на большой высо-

те, томящиеся в безветрии, а может, это сверкал первый ледок, такой прозрачный, что даже не изменил цвета воды...

— Эй, мы ж вроде за ягодами сюда приехали... — напомнил кто-то из моряков.

— Какие тебе ягоды: снег вон какой выпал...

— Чего ж ты тогда садился в бот? Ведь снег этот можно было и с судна увидеть...

— С судна поверху смотришь, а кто думал, что он в низах лежит...

— И уток никаких нет, только зря «брызгалку» захватил...

— Не утонуло ружье?

— Сдурел? Мне его по спецзаказу делали, не тонет оно...

— А мы сейчас проверим...

— Положь ружье... В морду захотел?

— Ладно, ребята, — сказал старший помощник. — Пойдем поветримся, земля все-таки...

Все словно ожидали этой команды — попрыгали прямо в воду, с криками побрели к берегу.

Морской берег был ровный, как стол, — метров полтора-два бурого, твердо укатанного песка с отпечатками волн. В одном месте он был изуродован ручьем, лед в ручье поломало приливом. Снег пачинался выше ручья, куда не доходил прибой. Он выпал, видно, так неожиданно, что застал врасплох кузнечиков, которые облепили зеленые ветки орешника и торчащие из-под снега прутья пырея, и даже при появлении людей кузнечики не решались прыгать. Помощник шел позади остальных — он оставался швартовать бот — и никак не мог прибавить шагу. Боль, которая приутихла малость, когда он сидел в боте, теперь разрывала его. Ноги ломило до тошноты,

до мути в глазах. Все вокруг потеряло для него четкость, воспринималось, как сквозь бегущую воду. Помощник даже не заметил, как ступил в речку, которая промывала в сугробах дымящую колею, ощутил это лишь по одеревеневшей ноге — левый сапог пропускал воду, — с трудом поднялся на гребень и ухватился за ствол дерева. Он видел озеро внизу перед собой, и воронки следов на рыхлом снегу, и фигуры моряков, спускавшихся в распадок. Где-то рядом слышались удары топора — это орудовал в лесу механик, а справа, в просветах деревьев, помощник видел на морском берегу лежку тюленей: на песке лежало штук пятнадцать стариков, а молодежь резвилась на воде, поднимая брызги, — будто там люди купались...

Помощник опустил по стволу на корточки, обнял ноги выше колен.

«Утихните, родные! — ласково уговаривал он их. — Скоро в город придем, ванну сделаем — как кипяток... Вот вам хорошо будет! Вот вам будет! — приговаривал он, и лицо у него светилось нежностью, будто он не к себе обращался, а разговаривал с каким-то другим, бесконечно дорогим ему человеком. — Положим, я дурак, что пошел в этом году на промысел, — говорил он. — Можно сказать, поставил вас в дурацкое положение... Но разве я виноват, если не могу дожидаться весны, словно какой-нибудь шальной скворец? Вы только не предавайте меня сейчас, а там мы вместе переживем зиму, там нас никто не увидит — отдохнете, все будет хорошо. Я знаю, что вы у меня молодцы...»

До него донеслись крики моряков у озера, а потом он услышал выстрел. Помощник заспешил туда.

Моряки столпились на берегу озера; заслоняя глаза от резкого блеска, смотрели на воду. На ряби покачива-

лась подбитая птица. Это была ипатка — птица из породы морских уток, напоминающая топорка, только клюв у нее светлее и нет на голове косичек.

— Серую шейку убили! — говорила фельдшерица, взволнованно прижав руки к груди. — Вот с этой ямки взлетела, а он в нее выстрелил в воздухе...

Девушка ступила в воду и стала по-домашнему звать ипатку. Птица забила крыльями, не в силах перевернуться. Ее относило ветром все дальше от берега. Девушка растеряннo обернулась.

— Серую шейку убили... — повторила она как во сне. «Сама ты серая шейка...» — подумал помощник.

— Хотя бы для пользы убил, а то ведь не достанешь ее сейчас... — заметил кто-то из моряков.

— Даже не убил, ранил, а она теперь мучается...

Рулевой, который подстрелил ипатку, стоял в стороне с вызывающим видом, но чувствовалось, что он сконфужен и не понимает, почему из-за этой ипатки все вдруг набросились на него.

— Я этих уток с тысячу пострелял, — сказал он. — Кормил вас все лето...

— Тогда не считается, — ответил ему артельщик. — Ты, можно сказать, последнюю утку убил сейчас... Не улетела, осталась здесь, а ты в нее выстрелил...

— Посмотрите, чего я нашла тут... — сказала девушка. Она сидела в вырытой в снегу ямке, откуда до этого вспугнули ипатку, и обметала рукавом куст шиповника с красными ягодами. — Помешал ты, — сказала она рулевому, — а ведь немного осталось ей до этих ягод... — И, прижав куст шиповника к груди, подергала его, но куст не поддался ей. — Тут всякое можно найти, — говорила она, ползая возле сугроба, отпихивая снег руками, грудью, коленями, — луг ведь здесь, значит, ягоды долж-

ны быть, цветы — я слышала, такие есть, что и под снегом цветут...

Матросы смотрели на нее. Помощнику сдавило горло, он закашлялся и прикрыл рот ладонью. Внезапно ему почудились крики — душераздирающие крики женщин, которые прыгали с горящего теплохода на спасательное судно, а одна женщина оступилась и упала между бортов, и он видел, как она билась вниз... «Чем я мог ей помочь тогда?» — подумал он.

— Ребята, чего стоим? Навались на ягоды!

— Тут их должно быть много — никто не собирает...

Моряки расползлись на четвереньках по берегу, снег облепил их бороды и мокрую одежду и освещал их потные, разгоряченные лица.

— Сдурели мы никак... — опомнился артельщик. — Какие тут ягоды? Этот луг скосили давно... Вот он, стог! — матрос показал на сугроб. — Сюда с Аян ездят косить, видно, бросили стог из-за штормов...

Матросы остановились. Они озадаченно смотрели на артельщика.

— Матерью стала, а все получилось как-то не так, по-стыдному, — вдруг заговорила девушка, глядя вокруг расширенными, как у подстреленного тюленя, глазами. — А так хотелось, чтоб в траве было, среди цветов... Чтоб среди цветов было! — повторяла она.

— Стог... Жги, мать его в душу! — проговорил помощник, морщась, придерживая ушибленную руку.

— И вправду, ребята: согреемся хоть...

— Со спичками беда, промокли...

— Стреляй в него... Стреляй, слышь ты... — закричал помощник рулевому.

Стог задымил со второго выстрела. Дым выходил из него струями, заволакивая распадок, а потом стал убы-

вать, и казалось, стог так и не загорится, как внезапно он зашевелился и стал оседать,— видно, внутри его все это время проходила невидимая глазу работа — и разом вспыхнул, выбросив к небу гудящий огненный столб. В одно мгновение снег будто слизало на двадцать шагов вокруг, на людях задымилась одежда, пар окутывал их с головы до ног, осыпало искрами, но они не шевелились и как зачарованные глядели на огонь...

— Баловство развели на берегу,— сказал, подходя, механик.— Судить вас некому...

— Написал я письмо жинке, чтоб баню к приезду готовила,— повернулся к нему, улыбаясь, пожилой матрос. — Вот только беспокоюсь насчет почтового ящика: не успел его толково приколотить, письма вываливаются... Как, если потеряется письмо?

— Видно, в трубке все дело,— размышлял радист.— А может, в выпрямителе? А как проверить — один электрод семь тысяч вольт! Короткое замыкание — и взрыв... Хотя взрыва, наверное, не будет...

— Как придем в город, меня сразу в больницу положат,— говорила девушка.— Тепло там, буду лежать на чистой кровати... Вон как толкается... Старпом, дай руку... Ну и холодные они у тебя, словно лягушки...

— Лилька...— Помощник лихорадочно ощупал карманы.— Вот ключи от квартиры... Приходи с больницы: дров нарубим, печку затопим, а?

— Во дает! — захохотал рулевой.— Тут стог горит, а ему печка...

Когда бот отошел, помощник оглянулся на остров: над ним кружились хлопья пепла, словно стая птиц, неизвестно почему залетевшая сюда в эту пору года.



В Анне, в портовой забегаловке с кружевами пивной пены на земляном полу, с запахом гнили от винных бочек, в сутолоке и криках товарищей, с которыми Дюжиков вернулся с промысла, маленькая гадалка Аня вдруг предсказала ему скорую гибель, а он, засмеявшись, выхватил карту, которую девочка сжимала в худеньком кулачке, и, не посмотрев на нее, разорвал в клочки. А потом, вернувшись к столу, глядя через замутненное дыханием окно на застывшую бухту и стояночные огни судов, он вдруг подумал об этом всерьез — о той последней минуте, которая может наступить не сегодня, так завтра, и погаснет свет в очах, и вытечет из души вся боль и вся радость, как летний дождевой ручеек.

Товарищ наклонился к нему:

— Генка, ты чего?

— Не трогайте меня! — Он оттолкнул от себя кружки с пивом, одна кружка упала и покатилась по полу.— Не трогайте...

— Опалел? А вроде немного выпили...

— Не трогайте меня!..

Он вышел из столовки и стал спускаться по неосвещенному переулку, громыхая по высохшим доскам, которые остались здесь после распутицы, а потом услышал, как проскрипела на ржавых петлях дверь и кто-то окликнул его, и, оглянувшись, увидел своего товарища, самого близкого среди остальных, который стоял на крыльце столовой, удерживая ворот вздувавшейся рубашки,— в темноте, словно азимутальный круг компаса, светился циферблат на его руке. Товарищ сделал несколько шагов по переулку, окликая его, оступился и, выругавшись, повернул обратно...

Он видел совхозный виноградник с левой стороны, огражденный по косогору невысоким забором, и рябиновые деревья у дороги с силуэтами крупных осенних ягод, а справа были поселок, витаминный заводик с большой трубой и общежитие девушек-сезонниц, куда они собирались пойти, хватив для храбрости в забегаловке. А потом поселок и виноградники остались позади, открылся серый голый березняк на морском берегу, темные склады, громадины стоявших на ремонте пароходов, которые уткнулись в берег,— здесь была самая глубоководная естественная бухта в мире; стали видны у воды дежурное помещение с флажком, ветряк для заправки аккумуляторов и небольшой пирс для рыбацких лодок.

Дюжиков кое-как пристроился на пирсе и попробовал

закурить, но ветер в одну секунду растерзал папиросу. В тишине шумел ветряк, раздавались шаги охранницы, которая ходила туда-назад возле складов, а в дежурном помещении светилось окно ее маленькой комнаты, и он видел головастого карапуза, который стоял за нитяным ограждением кровати и хватал деснами собственный палец, — видно, у него прорезались зубы...

«Вот так оно и бывает, — размышлял Дюжиков. — Ски-таешься по морям, радуешься удаче, грубой шутке, шальным деньгам и любви, время несет и кружит тебя, а потом какой-нибудь пустяк, какая-нибудь приبلудившаяся гадалка в одну минуту развеет этот туман, и станет ясно, что ты уступишь кому-нибудь место на земле, где, в сущности, никому не мешал, никому не сделал зла, а если и сделал, то тебе уже давно простили...»

В темноте раздался хруст ломающегося льда, веселые голоса — бот с моряками подходил к пирсу. Потом внизу послышалось учащенное дыхание, он увидел руки, расстилающие на заиндевелых досках пирса газету, и один из моряков осторожно взобрался наверх, стараясь не запачкать выходную одежду. «Наверное, приехали на танцы в общежитие», — подумал Дюжиков и, не вставая с места, протянул поперек пирса ногу, преграждая путь идущим.

— Отбой, — сказал он. — Я запрещаю увольнение...

Матрос, который шел впереди, остановился, зажег спичку и стал подносить к его лицу просвечивавшие розовым ладони, словно совершал какой-то торжественный ритуал... Дюжиков ударил матроса по рукам — спичка погасла. Это были ребята с танкера «Уран», который привез китовый жир на витаминный завод.

Матрос тоже сумел его разглядеть.

— Генка, ты чего здесь? — удивился он.

Остальные моряки столпились на краю пирса, и Дю-

жиков слышал, как рулевой, который остался в боте, спрашивал у них, что случилось.

В начале сезона, после того как они сдали танкеру тюлений жир, случилась неприятность: на витаминном заводе часть жира признали негодным — в нем обнаружили солярку (впрочем, специальных приборов, фиксирующих брак, на заводе не было, девушки определяли качество жира по вкусу), и было неизвестно, по чьей вине попала в жир солярка. Ребята с танкера свалили вину на них, а они, естественно, на танкер — чуть было не подрались из-за этого. Дюжиков решил, что подраться с ними и сейчас не поздно, и, чтоб побудить ребят к решительным действиям, он, приподнявшись, толкнул переднего матроса ногой.

— Генка, — сказали ему. — Нас пятеро, наkostenяем мы тебе по первое число... Лучше отойди, чего привязался?

Дюжиков задумался. «Разве они виноваты, что со мной случилось такое? — думал он. — Только испорчу им выходной день... Запомнят, что сидел тут и мешал, и то ладно...»

— Не трогайте меня! — проговорил он и убрал ногу.

— Да мы и не трогаем, на кой ты нам сдался...

Они зашагали по берегу, обсуждая этот инцидент, — решили, что человек выпил и не знает, куда себя деть, а матрос, которого Дюжиков толкнул, задержался перед освещенным окном дежурки и потер загрязнившиеся брюки. Некоторое время были слышны их шаги, а в море стучал двигатель уходившего бота, а потом все стихло.

«Здравствуй! — сказал Дюжиков мальчонке, которого видел в окне дежурного помещения. Мальчик к этому времени оставил палец и разглядывал какой-то предмет на полу, свесившись с кровати настолько, что был виден его младенческий и словно помятый задик. — Игнорируешь? — усмехнулся Дюжиков. — А того не понимаешь, что можешь запросто вывалиться из кровати, и мамаша не уз-

нает об этом, охраняя свои дурацкие склады, которые не нужны никому на свете... Вот ты родился, когда я был в море, даже не дождался моего прихода,— говорил ему Дюжиков.— И много девушек не дождались меня — почти все вышли замуж, только девчонки с витаминного остались, но и они завтра уезжают... А тебе на это плевать, ты даже знать не хочешь, что какой-то дядя сидит под твоим окном и ведет с тобой разговор...»

Ему в конце концов удалось закурить, и он смотрел, как ветер выдувает из папиросы искры, уносит в море и гасит на лету. Наверное, было холодно, но Дюжиков этого не чувствовал. Было время темных ночей, луна только родилась и еще не давала света — ее тоненький серп был обращен к востоку, а лед у берега тускло блестел, уходя в темноту, а потом открывался взгляду далеко впереди, где его освещали стоявшие на рейде пароходы. За пароходами начиналась морская кромка с туманными завихрениями над остывающей водой — там происходил процесс льдообразования, и сквозь толщу тумана размыто проступали береговые знаки: маяк де-Кастри на левом мысу и треугольный огонь на правом — сигнал, предвещавший непогоду.

Дюжиков спустился с пирса на лед и, поскользнувшись, едва не упал в воду — то был след бота, который уже затянуло шугой. Придерживаясь за пирс рукой, он попрыгал на месте: лед был крепкий, даже не треснул.

Он шел, ориентируясь на огонь первого судна, которое находилось намного ближе остальных,— это особенно стало заметно сейчас, когда он смотрел на пароходы со стороны,— и боролся с ветром, который был особенно силен здесь, на открытом месте. Иногда ветер просто тащил его по гладкому льду и норовил опрокинуть, и тут Дюжиков сообразил, что сам помогает ему, вернее, помогает его распахнутый плащ болонья, и уменьшил его парусность, за-

стегнув плащ до последней пуговицы, а концы засунул в карманы брюк. Если ветер и представлял противоборствующую сторону, то основной противник — лед — только подавал голос: трещал и гнулся под ногами. Огни судов уже горели, казалось, в нескольких шагах, и Дюжиков даже забеспокоился, что доберется до кромки без приключений. А на кромке что ему делать? Не прыгать же сдуру в воду, он еще в своем уме...

Дюжиков уже хотел повернуть обратно, как вдруг лед как-то молча, без треска, осел под ним, прогнулся и стал всей массой уходить из-под ног, набирая скорость, но, достигнув мертвой точки, лед не проломился, наоборот, стал стремительно выпрямляться, а потом снова уходить... Это были такие захватывающие падения и взлеты, что Дюжиков совсем ошалел от радости: он бежал и бежал вперед, по волнам льда, сердце у него колотилось...

Первый пароход, углевоз «Пржевальский», он проскочил бы, наверное, с ходу, если б вдруг не увидел вахтенного матроса на подвеске — тот обдирал сжатым воздухом старую краску. Дюжиков крикнул ему, и матрос, раскачиваясь на доске за бортом, оглянулся и затряс головой — наверное, решил, что почудилось, а потом снова принялся за работу. След бота оканчивался здесь, и Дюжиков понял, что ребята, с которыми он повздорил на пирсе, не с «Урана», а вот с этого углевоза, и засмеялся: хоть появилось какое-то оправдание тому, что он притащился сюда, — не разобрался в темноте, подумал, что ребята с «Урана», и нагрубил им, а они, оказывается, с углевоза, и он признает свою ошибку... Танкер «Уран» был следующий по очереди. Дюжиков видел его огромный трюм, путепровод и помповое отделение с грузовыми насосами. Он обошел танкер с кормы — здесь, у борта, лед был прочный, словно его приварили к железу. Одна каюта была освещена, и Дюжи-

ков, подтянувшись на руках, заглянул через толстое стекло. Он увидел женские волосы, рассыпавшиеся на подушке, и голую руку с оттиском пружин на коже — милую, родную руку буфетчицы Вали... И его вдруг, как тогда, на пирсе, когда он смотрел на мальчонку, поразила какая-то открытость людская, их незащищенность в этом мире: вот спит девушка, и ее далеко видно в темноте, а рука подвернута, и она ее даже поправить не может...

«Валя, роднунеленька моя, — проговорил он. — Спишь, дуручка, и даже не догадываешься, что я смотрю на тебя...»

Он обошел еще два судна: «Алданлес» и большой учебный парусник. На «Алданлесе» крутили фильм, и он видел людей в кают-компании — на их лица падали свет от экрана и отражение событий, которые они сейчас переживали; на паруснике рубились в домино: были видны только кулаки с зажатыми в них костями домино, кулаки обрушивались на стол, но ударов не было слышно — тоже кино, только немое... Впереди оставалось одно судно — его зверопшухна, и туда не было смысла идти, потому что на судне сделали дегазацию — травили крыс и тараканов цианистым водородом, каюты были опечатаны, вся команда на берегу, там ни одной души не было... Но он все-таки пошел туда и в каких-нибудь десяти метрах от шхуны провалился в воду: лед разошелся с грохотом, словно его раскололи изнутри, Дюжиков ощутил ногами бешено несущуюся воду, судорожно ухватился за ледовую кромку, поранив руки о ее рваные края, а отколовшиеся осколки течения словно выстрелило в океан. Течение тянуло его — казалось, оторвет руки, и Дюжиков понимал, что не выдержит, что течение сильнее его, что его унесет к чертям...

«Анна, — сказал он, — почему ты топишь меня, зачем тебе надо меня погубить?..»

Вдруг захотелось закричать кому-нибудь, что он здесь,

тонет, что все случилось так, как показала карта, и он в нее поверил... И он закричал — ребятам в забегаловке, мальчонке, тянувшемуся к игрушке на полу, буфетчице Вале, которая спала в нескольких метрах от него... Он закричал всем, кого любил, и ему хотелось, чтоб откликнулся кто-нибудь, чтоб услышать человеческий голос, чтоб увидели, что он здесь — тонет, а потом пускай его уносит, уносит к чертям...

Ему откликнулся медвежонок. Он висел на обдуваемом борту шхуны, вцепившись когтями в планшир, и тоже боролся с судьбой и тоже открывал пасть — звал на помощь... «Забыли Катьку, — тоскливо подумал Дюжиков, — вот ведь везет ей...» Этой Катьке, лопоухой, с белой грудкой, которая выдавала ее гималайскую породу, в самом деле везло на приключения: за свою крохотную морскую жизнь она уже несколько раз падала за борт и каждый раз ее чудом замечали и чудом ее удавалось спасти. В последнее время у нее пропал голос — от судового магнетизма, не помог даже медный ошейник, и Дюжиков удивился, что она кричала. Наверное, голос у нее появился от страха...

Между бортом шхуны и матросом была неширокая полоса воды, если б не течение, он одолел бы ее в два-три гребка, а забраться на судно было нетрудно: как раз с этого борта в воду свешивался веревочный трап. Но он знал, что, если разожмет пальцы, он пропал, течения ему не одолеть, и вспомнил, как погиб его товарищ в Антарктике: тоже думал, что переплывет вот такой ручеек, но не переплыл, вода остановила сердце, а здесь вода была как вода и все было бы нормально, если б не течение... И тут он увидел, что кромка, за которую он ухватился, уже не кромка, а огромный отвалившийся кусок льдины — наверно, где-то во льду была трещина и течение размыло ее, — и эта льдина наклонилась, ее разворачивает и начинает крутить,

устремляя в водоворот, в толчею волн, и расстояние между бортом шхуны и ею сокращается... Он отметил это сразу и сразу понял, что спасен, что, наверно, сама Анна протягивает ему руку, и если он не ухватится за нее, то грош ему цена как моряку...

...Дюжиков свалился на палубу и лежал, не в силах подняться, примерзая одеждой к доскам настила, а потом вспомнил про медвежонка и, шатаясь, поднялся на ноги, подошел к борту. Он или потерял координацию, или пальцы его не слушались — никак не мог ухватить Катьку за бортом, и та, поторапливая матроса, укусила его за палец... Держа Катьку на руках, расшвыривая ногами пустые жестяные банки с красными наклейками, Дюжиков поднялся в рубку — только она не была опечатана. Он стащил с себя мокрую одежду, развесил ее на компасе, на рулевом колесе, на двери. В штурманской он увидел рабочий костюм капитана, который висел на гвоздике над столом, а в углу, под грелкой, обнаружил свитер без рукавов, который еще не успели использовать в качестве половой тряпки. Костюм пришелся впору, так обтянул его, словно давно ожидал той минуты, когда Дюжиков его наденет. Дюжиков пожалел, что нет зеркала — щеголять в капитанской форме ему еще не приходилось. «Если попаду сегодня на танцы, все девчонки будут мои!» — неожиданно подумал он и на всякий случай проверил карманы, чтоб быть в курсе капитанского имущества, но ничего не обнаружил примечательного, кроме квитанции из вытрезвителя, двухлетней давности. «Зачем он ее сохраняет?» — удивился Дюжиков, а потом подумал, что с этой квитанцией, по-видимому, связаны у капитана какие-то воспоминания: дурные или хорошие — это теперь не так важно, главное, что запомнились... Окликнув Катьку, он спустился на палубу и вдруг увидел бот с молодыми моряками, который отходил

от парусника. В том, что он не проворонил этот бот, Дюжиков увидел для себя какое-то радостное предзнаменование. «Теперь все,— подумал он весело.— Раз переломил судьбу, значит, все пойдет, как я хочу...»

...В окне дежурного помещения по-прежнему горел свет, но мальчонки в кроватке не было, и со смятением в душе Дюжиков открыл дверь. Мальчик спал на полу, крепко прижав к груди надувную резиновую лягушку. Из-за этой лягушки он, наверное, и вывалился из кроватки, но следов ушиба Дюжиков на нем не увидел... «Молодец,— подумал он.— Настоящий мастер высшего пилотажа!» Он перенес спящего мальчика в кроватку, потом развернул плащ и выпустил из него медвежонка. «Это тебе подарок от меня», — сказал он мальчику. Подошел к зеркалу и пожалел, что мальчонка спит и не видит, как он стоит здесь, красивый, в капитанской форме,— такое ему, наверное, запомнилось бы надолго.

— Много ты потерял, это я тебе дружески говорю! — сказал он.— Но не переживай: у тебя еще все впереди...

В Анне, в общежитии витаминного завода с портретом И. В. Мичурина — великого преобразователя природы — на стене, в обществе дурашливых девчонок, которые уезжали на материк, в сутолоке и криках товарищей, с которыми Дюжиков вернулся с промысла, маленькая гадалка Аня предсказала ему долгую жизнь — или забыла, что уже гадала ему во второй раз, или у нее плохие карты кончились,— и он, засмеявшись, поцеловал ее в смуглую щеку, а потом, подойдя к столу, грохнул кулаком.

— Генка, ты чего? — спросил у него товарищ.

— А ты чего?

— Я — ничего...

— Вот и хорошо! — засмеялся он.



Памяти А. Н. Белкина

Всю ночь Афоня пробыл на Нерпичьем мысу. В полсотне шагов от него на широкой галечной лайде лежало стадо тюленей. Афоня наблюдал за ними, делая записи в тетрадке. Едва начало светать, как зверь ушел в море. Тогда Афоня направился к своей лодке. Лодка стояла в небольшом заливчике, образованном осохшими камнями. Афоня спустился к ней, прыгая с валуна на валун. Со всех сторон поднимались в небе черные зубы скал, кричали птицы. На берегу лежал якорь от лодки. Афоня нагнулся, чтоб поднять его, и отпрянул назад — со скалы прыгнул зверь. Это был сивуч — морской лев весом с трех здоровенных быков. Он угодил прямо на якорь и тотчас уснул, не об-

ратив на Афоню внимания. «Лодка пришвартована надежно», — усмехнулся Афоня. Он вытащил из кармана тетрадку, карандаш и записал: «Должен отметить про сивуча, который свалился со скалы». Потом он залез в лодку и закурил, не зная, что делать: он не решался разбудить зверя. «Чтоб тебе сгореть!» — разозлился Афоня и обрезал якорный линь ножом.

Обогнув мыс, Афоня некоторое время шел морем и вскоре добрался до бухты. Это был небольшой ковш с бочками для швартовки мелкосидящих судов. Впереди стал виден поселок: выгон с конями, желтое здание метеостанции и две серые полосы изб, разделенные широкой улицей. За выгоном, на мостках через речку, Сашка, двоюродная Афонина сестра, полоскала белье — он узнал ее по розовой рубашке. На метеостанции заговорило радио: московский диктор пожелал всем спокойной ночи, а потом заиграли гимн. «Скоро Марьюшка выйдет огород полоть», — вспомнил Афоня. Он заглушил мотор и выволок лодку на берег.

По отливу бродили собаки, оскальзываясь лапами на мокрых голышах. Галька была усеяна обглоданными остовами рыб и серо-зелеными трепещущими пластами осохшей камбалы. Течение речки здесь останавливалось, образуя широкую пресноводную затоку. Вода в ней была мутной от рыбьих молок и так воняла, что стало трудно дышать. Афоня опустился у воды на корточки и, отворачивая лицо, принялся мыть сапоги. Возле ног плеснула рыбина. Афоня, изловчившись, поймал ее. Это был отнерестовавший толстолоб — белобрюхий, с оголенным до ребер боком. Он глядел на Афоню, раскрывая пасть, — будто что-то говорил ему... «Вон как его ободрало на гальке! — думал Афоня. — Надо ж было целый океан перебежать, чтоб пухнуть в этом вонючем месте... Неужто нельзя его жизнь по-

другому переделать?» — И он выпустил рыбину и достал свою тетрадку.

Афоня шел к поселку и думал про ученого Белкина. Ученый Белкин изучал и рыбу, и птицу, и зверя так, словно имел дело с людьми. Афоня подружил с ним прошлой весной, когда ученые зафрахтовали на сезон зверобойную шхуну, на которой Афоня работал. Шхуна пошла по Курилам: они кольцевали котика на лежбищах, изучали миграцию зверя, отлавливали птиц на базарах. А в рулевой, возле компаса, лежала толстая тетрадь, и Белкин заставлял вахтенных вести в ней записи: какой зверь прошел? Какая птица пролетела? В каком направлении? — в тетради вопросов было много. Афоне нравилось отвечать на эти вопросы. Он был зверобой и раньше смотрел на море с одной стороны: удобно оно или неудобно для промысла. Теперь он начал понимать, что море существует не только для того, чтобы стрелять, зарабатывать деньги, умирать в нем, а что живет оно своей жизнью, похожей на человеческую, и убивать эту жизнь постыдно для человека. В конце концов Афоня бросил работу и вернулся в родной поселок. Но жизнь у него в поселке не ладилась, и Афоня думал сейчас: «Запишу чего побольше и поеду во Владивосток к Белкину. Пускай берет к себе».

По правую сторону речки был луг. Он тянулся, огибая поселок, через широкое плато, за которым чернела вырубка. На лугу косили траву женщины. Они разделись до лифчиков, ритмично и одинаково махали косами. Их головы и розовые спины будто плавали, то исчезая, то появляясь на седом, клубящемся под ветром лугу. Потом разом засверкало что-то... «Косы вострят», — догадался Афоня и невольно потер одна об одну ладони, будто уже водил бруском по кривому полотну косы... В двенадцать лет, оставшись без отца-матери, начал он ходить в море вместе со

взрослыми мужчинами, и с той поры не мог увидеть ни косьбы, ни сева, ни жатвы. Уходил в море с ранней весны и до поздней осени — только вода и лед были у него перед глазами. Вода и лед. И сейчас они стояли перед глазами — мешали смотреть...

Аффоня обернулся, услышав шум за спиной, и увидел паренька — тот брел по речке, выгоняя из воды морских уток. Утки неуклюже побежали по берегу, пытаясь выбраться через гребень к морю. Паренек бросился им наперерез, подбивая камнями. Когда Аффоня подошел, паренек уже потрошил добычу. Одна утка — остроклювый крохаль — ползала по гальке, выпустив крыло. Аффоня хотел взять подранка, но паренек опередил его, наступив на птицу ногой. Это был Мулинка Аттахе, отец которого утонул в прошлую путину.

— Зачем крохалей губишь? — спросил Аффоня.

Мулинка не отвечал.

— Должон ведь знать, что запрещено, — говорил Аффоня. — Станет на крыло, тогда бей, а теперь нельзя, потому что она необлетанная.

— Тебя где пропал? — спросил Мулинка, не глядя на него.

— Ходил на мыс... Чего ж ты не зашел ко мне, вместе пошли б?

— Наша скоро ходи в другое место, — ответил Мулинка.

— Это куда? — поинтересовался Аффоня.

Мулинка заколебался, не решаясь открыть свой секрет:

— Тебя будет смеяться...

— Разве я посмею? — удивился Аффоня.

— Аффоня нету труса, — сказал он. — Мулинка тоже не-

ту труса...— И, недоверчиво глянув на Афоню, спросил: — Тебя наша друг?

Афоня кивнул.

— Мулинка будет выручить друга...— Он остановился и набрал в легкие воздуха.

Афоня непонимающе смотрел на него. Мулинка продолжал, возбуждаясь:

— Афоня нету виноватый! Марьюшка виноватый, орленка виноватый... Орленка наша кишки выпущу! — прибавил он со злобой.

— Это зачем? — удивился Афоня.

Мулинка исподлобья смотрел на него. Он стоял против Афони, засунув руки в карманы дырявых штанов. Штаны до колен покрывала рубашка из грубого полотна с косым воротом и с застешками на боку. Ее опоясывал широкий матросский ремень. На ремне висело два ножа в деревянных ножнах. Смуглое грязное лицо Мулинки с заветренной кожей на скулах, с пухлым ртом и круглым нежным подбородком будто освещалось черными, косо разрезанными глазами; черные волосы были, как у большинства орочей, заплетены в маленькую косичку... «Красивше его в поселке не найти! — подумал Афоня.— Ни в чем его природа не обидела, так разве не должен он блюсти ее!»

— Мулинка,— сказал он,— а помнишь, как ты жеребенка приметил в небе?

— Какой жеребенка?

— Малой еще был совсем,— засмеялся Афоня радостно.— Посмотрел на облако — будто красный жеребенок стоит! — и как заорешь на весь поселок... Эдак ты сообразил тогда, я б и теперь не догадался!

Мулинка переступил с ноги на ногу.

— Тебя понимай нету,— ответил он.

— Э-эх! — Афоня плюнул в сердцах, достал тетрадку

и записал: «Возмущался всей душой, наблюдая, как бьют уток камнями. В этом деле участвовал Мулинка Аттэхе»...

В тетрадке остался один чистый листок. «Пойти к Марьюшке, чтобы взять тетрадок», — решил Афоня. Он двинулся дальше. Мулинка долго смотрел ему вслед.

На выгоне стоял сарай для соления икры, подпертый столбом от ветра. Он был пустой, без двери, и весь проем занимало разросшееся паучье гнездо... После того, как вырубili вокруг поселка лес, как обмелела бухта, он потерял промышленное значение. Засолочный пункт перенесли в Крестьяновку — районный центр, который находится в восьми километрах отсюда к югу. Там теперь швартовались рыболовные и зверобойные судна. И давным-давно стоял этот поселок у всего света на краю, только вертолет раз в месяц привозил почту да метеостанция работала — давала сводку побережным рыбакам, ловившим рыбу ставными неводами.

Кони шли по мосткам. Афоня протерся среди конских боков на мостки, набрав на одежду линялого конского волоса. «Кони слиняли!» — обрадовался Афоня. Для него это была великая новость. Он остановился и посмотрел вверх. На горе виднелись просторные пятистенные избы, повернутые торцами от моря, с далеко отходившими по скату огородами. Афоня увидел русую Марьюшкину голову, склоненную спину и руки, быстро сновавшие в грядке. Он крикнул ей, чтоб подошла.

Марьюшка спустилась к мосткам и остановилась в нескольких шагах от него, спрятав руки за спину. На ней была белая рубаха, украшенная на груди разноцветными лоскутами. Гладко причесанные волосы открывали невысокий крутой лоб. Ее лицо, плоское и чуть выдававшееся вперед нижней своей частью, казалось некрасивым, но трогало какой-то доверчивой, полудетской серьезностью.

Была она маленькая ростом, с широкими большими ступнями, с серьгами в ушах. И было Марьюшке пятнадцать лет, на три года меньше, чем Афоне. Училась она в седьмом классе в Крестьяновке, а сейчас у Марьюшки были каникулы.

— Позвал, чтоб тетрадок купить,— сказал Афоня в большом смущении.— Исписал свои: вот, один листок остался...

— Зачем покупать? — ответила она, и у нее что-то хрустнуло за спиной.— Я тебе так дам.

— Сколько у тебя есть?

— Четыре штуки. Да еще маманя взяла одну на письма.

— Все равно не хватит мне,— подумав, сказал Афоня.— Забегу как-нибудь в крестьяновский магазин...

Она ничего не ответила. Афоня прислушался, приставив к уху ладонь:

— Должно, вертолет везет почту...

— Не видать ничего...

— Так его не увидишь сейчас... Это я по мотору распознал,— ответил Афоня и рассмеялся.

— Пойду я, Афанасий,— сказала она нерешительно,— а то маманя заругает, велела на огороде быть.

«Чегой-то она вертит в руке?» — заинтересовался Афоня. Он глянул в воду под мостками, увидел тяжелый узел Марьюшкиных волос с вонзившимся в них красным гребнем, загорелые крепкие лодыжки, округлые Марьюшкины руки с ямочками на локтях и перепачканные землей кулачки, откуда на длинном хвостике свешивалась репка... «Чудно как!» — встрепнулся Афоня. Он достал тетрадку и записал: «Наблюдал Марьюшку под мостками. Заметил в ее руке репку»... И с радостно бьющимся сердцем посмотрел на нее.

— Ты чего записал? — встревожилась она.

Аффоня прочитал.

— Эх ты, Афанасий! — только и сказала она. Помолчала и добавила, отворачиваясь: — Я маманю просила вчера, чтоб заговорила она тебя. Сильно упрашивала, только маманя отказалась.

— Зачем ты? — не понял Аффоня. Он думал о другом и все глядел в воду, по вода теперь была пустая.

Тут Марьюшка обернулась и, словно пересилив себя, посмотрела на него.

— А где твоя рубашка морская, с якорем? — спросила она. — Ну, в которой ты на танцах был?

— Суконка? — догадался Аффоня. — Так я ее оставил Ивану.

— Верно, ни к чему тебе теперь, — сказала она, оживляясь, с какой-то мрачной радостью.

Аффоня насторожился, почувствовав в ее словах что-то неладное.

— Пойдем рябину собирать? — предложил он, чтоб перевести разговор на другое.

— Афанасий, — сказала она, — ты ко мне не приходи. Маманя сказала, чтоб не приходил больше.

— Маманя? — переспросил он, недоумевая.

— Не приходи, — повторила она твердо. — Так что прощай, Афанасий...

— Марьюшка... — растерянno проговорил Аффоня.

Она пошла огородами обратно, вначале медленно, опустив голову, размахивая невпопад руками, потом побежала и пропала в воротах. На мостках осталась лежать репка. Аффоня с минуту смотрел вслед Марьюшке, потом перевел глаза на репку, поднял ее и положил в карман. «Должно, плачет сейчас... На людях не позволит себе... Гордая!» —

подумал Афоня о Марьюшке и задумался. Он не думал о том, что случилось между ними, потому что его внимание было отвлечено другим, еще более необъяснимым происшествием, которое непонятно взволновало его. Это была записка в тетрадке о Марьюшке и репке. До этой поры Афоня записывал свои наблюдения за зверем, птицей, рыбой, а тут ни с того ни с сего записал нечто совсем другое. И хотя Афоня не смог бы объяснить, зачем ему надо было писать это, но чувствовал в нем какой-то тайный радостный смысл. И его обидело, что Марьюшка ничего не почувствовала в этих словах: «Не сумел ей душу перевернуть! А ведь все здесь по мне, все перед глазами стоит... Это чтоб красоты такой не видеть, уток бьют камнями... Э-эх!»

Над Нерпичьим мысом показался почтовый вертолет. Почтальонша — она работала на огороде, — завидев вертолет, опрометью бросилась в избу, вытирая на ходу о передник руки. Через минуту она выскочила оттуда с мешком, прыгнула на неоседланную лошадь и погнала ее к лугу. Вертолет тем временем уже перевалил ковш и пополз над поселком, сотрясая мощным винтом воздух. Он закружил над лугом, но груз не сбрасывал, ожидая, когда доскачет верховой. В поселке затаивали собаки, закрипели ворота и калитки — народ заспешил к почте. Когда Афоня подошел туда, почтальонша уже выдавала конверты. Люди потрошили их, выхватывая заветные листки, тут же читали, не отходя, словно застывали на месте. Которые еще не получили письма, напирали на передних, нетерпеливо лезли к окошку, лягая шнырявших под ногами собак, не обращая внимания на орущих детей, цеплявшихся за материнский подол. Которые не умели читать, суетились больше других, отыскивая тех, кто поскорей освободится...

Афоня стоял и смотрел во все глаза — он будто впервые видел такое. «Сбежались, ровно на пожар! — удивлялся

он. — А чего в тех письмах? Ведь в них и нет ничего!» Он увидел Марьюшку, заметил на ней выходную блузку и мокасины. Руки у Марьюшки были чистые, волосы заколоты по-другому («И когда только успела!»), но стояла она в стороне и была здесь словно чужая. Взгляды их встретились. Афоня увидел в ее серых глазах такую страшную, непоправимую обиду на него, что тотчас отвернулся. «Марьюшка письмо не получила, некому ей писать теперь... Она мне этого никогда не простит!» — думал он, быстро поднимаясь к дому.

Жил Афоня у Сашки — она у него одна осталась из родни. Отец у него умер, а мать погибла в осенний паводок, шесть лет тому назад. Тогда с неделю беспрерывно лил дождь, речка вздулась и вода ее, перемешанная с плавником, пошла валом сверху, ломая живой лес, избы, лодки... Много она народа погубила. Теперь поселок перенесли повыше в горы — хоть и вертолет летает, и метеослужба рядом, а мало ли что может случиться?

Афоня открыл калитку, вошел во двор. Двор был обнесен плотным забором из двухдюймовых досок с номерами — такие доски возили на крестьяновский рыбокомбинат пароходы. Через двор были протянуты веревки с мокрым бельем. Афоня добрался до сарая — там тяжело воняла медвежья солонина. Возле порога лежала растянутая на клячах (палках) сеть, валялись аккумуляторные ящики. Афоня споткнулся, постоял, привыкая к темноте. И тут орленок позвал его. Афоня сел на корточки и вытянул перед собой руку. Орленок подбежал к нему, вскочил на ладонь и замахал крыльями, усаживаясь поудобнее. Афоня пошарил рукой вокруг себя, отыскал черепок с водой и поднес ему. Орленок отвернулся и обиженно ударил Афонию крылом. Афоня довольно рассмеялся. Он набрал в рот воды и заклекотал по-орлиному. Тогда орленок прыгнул к нему на грудь

и стал пить у Афони прямо из рта, погружая туда клюв на самую малость. «Уважает человека», — подумал Афоня.

Это был совсем еще маленький орленок из породы белоплечих орланов. Афоня подобрал его недели две назад — тот выпал из гнезда, сильно ушибся. Афоня вылечил его, но все не решался выпустить на волю, потому что привязался к нему, словно к другу. И в то же время Афоня понимал: орленок должен лететь к своим. «Пуцу его сейчас», — решил Афоня, вспомнив, что Мулинка грозил убить орленка. Он поднялся по лестнице на крышу сарая и сел там, свесив ноги. За сараем был громадный обрыв, заросший рябиной и кедровым стлаником, спускавшийся выступами к морю. Афоня посмотрел на маленького орленка, и сердце у него сжалось: «А что, если разобьется?..» Он снял орленка с груди и далеко бросил вперед. Орленок камнем полетел вниз, он падал так долго, что у Афони перехватило дух, но тут поток воздуха подхватил орленка, он расправил крылья и взмыл кверху, плавно набирая высоту... Афоня долго-долго глядел ему вслед: «Полетел друг милый, теперь не догонишь...»

Спугнув кур возле крыльца, он отворил дверь в избу. Она была не отштукатурена внутри, с русской печью, с большим окном, выходившим на север. На стенах висели рамки с фотокарточками и льняные вышитые полотенца. Весь угол занимал деревянный, окованный медью сундук. Остался он от первых переселенцев — предков Афони. Афоня слышал, что переселенцы ехали сюда на быках, а в таких сундуках везли камни для придавливания капусты, и думал одно время, что оттого у них столько камней на побережье — переселенцы привезли... Предки Афони, разорившиеся ростовские мужики, ехали сюда в надежде разбогатеть на вольных землях, но не сумели справиться с хозяйством и постепенно становились моряками. Видно, причи-

ной тому была не столько неурожайная, неласковая земля, сколько влияние туземного быта. Быстро возникали смешанные поселки, где с каждым годом трудно стало отличать туземца от русского. Афоня же, несмотря на некоторую примесь туземной крови, больше походил на русского: рослый, грузный, желтые плоские волосы, крупные губы и нос. Сашка была внешне похожа на Афню, но была она по-девичьи стройная, белозубая, с круглой налившейся грудью, с румянцем на круглых щеках.

Афоня умылся над ведром, поливая себе из кружки, вытерся насухо и сел за стол, расстелив полотенце у себя на коленях. Сашка поставила перед ним миску с окрошкой. Окрошка была приготовлена из хлебного кваса и густо усеяна поверху черемшой — диким чесноком. Афоня принялся хлебать, громко чавкая. Сашка села напротив, глядя на него.

— Ты б Мулинку к себе взяла, а то уток бьет камнями — мало ли до чего сумеет дойти! — сказал Афоня, припоминая. — Все равно у вас детей нету с Иваном...

Сашка покраснела, губы у нее дрогнули. Она помяла пальцами скатерть, ответила робко:

— Мне б маленького взять, чтоб одежонку ему шить, чтоб купать его в корыте...

Афоня перестал хлебать и удивленно посмотрел на нее. Сашка, словно спохватившись, громко засмеялась, сказала:

— Попробуй возьми Мулинку, если он от третьей семьи убегает!

— А мне знаешь чего говорил? — встрепенулся Афоня. — Убью, говорит, орленка — вот тебе раз!

— Любит он тебя, — ответила Сашка. — Он тебя больше всех любит в поселке.

— Чего ж он тогда?

— А орленка он ревнует к тебе, у ребятешек это быва-

ет.— Она усмехнулась.— Надумал вроде Мулинка на промысел уходить. Место после тебя осталось, вот ему и не терпится...

«Может, он уток этих на дорогу припасал? — подумал Афоня, но сразу отбросил свое предположение.— Глупости это,— решил он.— А твердая рука ему надобна».

— Разве дойти ему туда? — не согласился он.— Больно далеко... А от тебя он никуда не убежит.

— Иван раз попробовал...— вспомнила Сашка мужа и захохотала, шутливо ударив Афюню по плечу. Он тоже засмеялся — с Сашкой они были большими друзьями.

— С Марьюшкой у меня нескладно вышло,— Афоня облизал ложку, ожидая добавки.— Сказала, чтоб не приходил больше.

— Смеются над ней,— вздохнула Сашка.— Говорят: с юродивым, мол, связалась... Жалко девки!

— Дружба у нас с ней хорошая,— ответил он.

— Надобно тебе уехать отсюда, Афанасий,— осторожно начала Сашка.— Не хотишь на море работать — твое дело, только не место тебе жить тут.

Афоня не отвечал, задумавшись. Перед его глазами мелькали картины: лежбище тюленей, кони на мостках, Марьюшка с репкой, Мулинка, орленок... «Должен я все это каждый день наблюдать,— думал он,— потому что мне как бы и не жить теперь без этого... А к Белкину всегда успею».

— Узнавала у крестьяновского радиста насчет работы,— говорила она.— Монтеры нужны на линию.

— Что мне до того? — отмахнулся Афоня.

— Верно, не для мужика работа,— сразу согласилась Сашка.

Сашка, как и другие жители поселка, не могла представить всерьез, чтоб у такого здорового парня, как Афоня,

могло быть какое-либо другое дело, кроме как ловить селедку или стрелять тюленя. А Афонинo писание казалось и вовсе странным. Но она, в отличие от многих других, не думала, что Афоня испугался моря — это считается в морских поселках большим позором, — а объясняла Афонин приход по-своему: «Может, поссорился с кем или с пьянки случилось — разве от него узнаешь правду? Как прибежал сюда, так и убежит...»

— Афанасий, что скажу тебе...— Сашка перегнулась к нему через стол.— На поселке говорят, что балуемся мы с тобой,— сама слышала...

— Как это? — не понял Афоня.

— А так, что дети получаютсЯ от этого...

— Ты ч-чего, Сашка? — растерялся он.

— Я ничего! — расхохоталась она.

И тут неожиданно для самого себя глянул Афоня через оттопыренный край ее розовой рубахи, застыдился и подумал испуганно: «Эдак до чего может дойти, истинный бог!»

— Если в тягость я тебе, то уеду я...— с трудом выдавил он из себя.

— Нешто я выгоняю тебя? — изумилась она.— Прямо удивительно слышать такое... Живи, сколько влезет: перемелется — мука будет!.. К слову сказать,— спохватилась она,— съездил бы ты в Крестьяновку за мукой, а то в нашем магазине последнее подобрали.

Афоня кивнул, соглашаясь. Сашка прибрала со стола, нагнувшись над зеркальцем, повязала платок — ей надо было идти дежурить на метеостанцию. Уже в дверях весело сказала молчаливо сидевшему Афоне:

— Надобно тебе проветриться, Афанасий. И сводка на сегодня для тебя как раз подходящая...

Афоня вышел следом за ней.

В Крестьяновку он пришел после обеда и привязался к пирсу, словно утонув между высоченных бортов торговых пароходов. Он купил мешок муки на пароходе, погрузил его в лодку, выбрался наверх и пошел вдоль причалов, глядя по сторонам. Грузчики орудовали на палубах, сбрасывая на причал пустые бочки,— они катились юзом по наклонным подпрыгивающим доскам. По бухте разносилась музыка с «селедочников», которые стояли на рейде в ожидании разгрузки. На городской башне звонил штормовой колокол. Из столовой к баракам шли девушки-сезонницы с большими буханками хлеба под мышкой. У нефтёбазы Афоня повернул направо и дворами, мимо старых корейских фанз, выбрался на городскую улицу, пересек ее, увязая по щиколотки в песке, и толкнул дверь голубого павильончика. В поздρι ему ударил запах скисавшего ячменного пива, жареной трески и махорочного дыма. За круглыми деревянными столами, врытыми в землю, толпились портовые рабочие и рыбаки. Афоня добрался до пивной бочки, но выпить пива оказалось делом нелегким из-за отсутствия кружек: если владелец приносил ее, то лишь для того, чтоб наполнить вновь. Афоня повернул обратно, и тут его окликнули. Это был Христиан — штурман со спасателя «Атлас». Одно время он плавал на зверобойной шхуне, и Афоня был у него на боте стрелком.

— Пей, это все мое... — Христиан пододвинул ему левой рукой целую дюжину кружек с пивом, правая рука у него была на перевязи. — Здравствуй, — сказал он.

Афоня не рад был встрече, знал: сейчас пойдут всякие расспросы и тому подобное. Но Христиан ни о чем не спрашивал.

Они долго пили молча. Афоня спросил первый:

— Ты сюда как попал?

— Японца приволокли, загорелся в лимане,— ответил он.

Афоня посмотрел на его серое осунувшееся лицо:

— Всех спасли?

— Один утонул: прыгнул за борт с кругом на шее...

— Задушило?

Христиан кивнул.

— Плохой моряк,— заметил Афоня.— Надобно в таком случае круг в руке держать — первое дело.

Христиан положил ему руку на плечо:

— Помнишь, как разбился бот возле Рейнике? Как дрейфовали на льдине? Хорошее было времечко, а?

— Ушел я оттуда совсем,— признался Афоня и нерешительно взглянул на Христиана.

— Вот почему ты здесь...— Только сейчас начал догадываться Христиан.— Ведь ваши же все на промысле... А где ты теперь?

— Живу в поселке, и все тут,— ответил Афоня.

— А я не сумел море бросить,— сказал Христиан и заслонил кружкой лицо.— И тогда знаешь, что произошло: Аня умерла, невеста моя. С тоски. Не могла моей работы выдержать...

— Чудно́ как-то,— проговорил Афоня, отворачиваясь.

— Чудно́,— согласился Христиан. И сказал вдруг:— Мне один японец попугая подарил. Я его теперь русскому языку обучаю. Толковая птица.

Они допили пиво, вышли из павильончика и остановились на крыльце, прикуривая один у другого. Со стороны моря нарастал однотонный томительный гул.

— Штормяга идет,— сказал Христиан.— Все нам работа... Ты куда сейчас?

— В магазин,— ответил Афоня,— надобно тетрадок купить.

— Возьми у меня денег,— попросил Христиан и вытащил из кармана бумажник.— Бери, сколько хочешь.

— Мне свои некуда девать,— ответил Афоня.

— Ну, ладно,— Христиан неловко сунул бумажник обратно и подал ему руку.— Если что, приходи на «Атлас». Место для тебя найдется.

Магазин был уже закрыт. Ветер усилился настолько, что останавливал дыхание. И дома, и улицы — все потонуло в желтой песчаной буре. Афоня кое-как добрался до порта, ориентируясь по звуку беспрестанно звонившего колокола, прыгнул в лодку. Лодка у него была надежная: широкобортная, с воздушным ящиком и сильным челябинским дизелем. Дубовый киль был обит по носу стальной шиной, так что даже во льду на ней можно было ходить.

Выйдя из горловины бухты, он взял мористее, подставив ветру корму. Вскоре он попал в отливное течение, которое следовало на север, и лодка понеслась во весь дух. Справа от себя Афоня видел материковый берег — ясеневый лес на холмах, пустые тюденьи пляжи, базальтовые глыбы, над которыми взлетали фонтаны брызг. А слева было море с полузатонувшим солнцем, с дымящей на горизонте трубой лоцманского судна. На воде мелькали черные спины плавниковых бревен, которые выносило течение из Сахалинского залива. По бревнам прыгали топорки — Афоня узнал их по широким клювам.

Он сидел возле фыркающего двигателя, привычно ворочал румпальником, а разговор с Христианом не выходил у него из головы. Афоня вспомнил, что Христиан, когда работал на шхуне, ни разу не взял отпуска во время промысла — теперь это казалось Афоне странным. А на боте от него спасения не было: раньше всех уходили в море и позже всех возвращались на судно. И ночью заставлял охотиться: винтовочного ствола не видишь перед собой — не

то что тюленя, — а стреляешь... «Нешто ради денег Христиан работал?» — размышлял Афоня и чувствовал: нет, не из-за этого. «Работал ради работы, — решил он. — Захлестнуло его море выше глаз, и уже ничего, кроме работы, не мог он увидеть». И еще больше укреплялся Афоня в своем желании оставить море навсегда. Афоня представил, что скоро будет дома: будет запах луга, топот спутанных коней, огни в избах, Марьюшка, и радостно улыбнулся. Но вспоминал их сегодняшний разговор на мостках, и как Марьюшка смотрела на него возле почты, и Сашкины слова, и многое другое — беспокойно становилось у него на душе. Вспоминалось ему, как возвращались они в поселок после промысла — худые, дочерна обгоревшие во льдах. Шли по поселку, оглашая его хохотом и криками. А навстречу им бежали их матери, жены, сестрички, братишки. И каждый из моряков издали громко узнавал их — по платьям, по платкам, по своим особым приметам... Потом сидели посреди улицы за праздничными столами. Марьюшка спрашивала у Афони: «Ну, чего у вас было?», смеялась и брызгала в него соком из помидоров. А после они так отплясывали в клубе — пламя моталось в фонарях, и когда солнце неожиданно освещало танцующих, все с хохотом начинали гасить огонь. «Вот ведь как было, даже поверить невозможно!» — потрясенно думал Афоня. И внезапно понял он, что земля еще больше отдалилась от него, когда ступил на нее, чтобы остаться навсегда, отказывался верить этому и думал о себе, словно о другом человеке: «Должен жить как живешь, а там перемелется все...»

Мощный толчок едва не выбросил Афонию из лодки. Вода хлынула через борта, наполнив лодку до половины. Афоня подхватился, резко повернул румпальник, поставив лодку носом против волны, и начал вычерпывать воду. Стемнело. Ветер переменялся, задул с материка. Он вырывался из

распадков, поднимая на мелководе большую волну. Афоня направил лодку под берег, где ветер был слабее. Вскоре он уже выходил на освещаемый знак Нерпичьего мыса.

В саженях двухстах по носу из воды выступал риф, за ним был осохший бар, на котором колошились чайки. Заслышав стук двигателя, чайки взмыли в воздух, повиснув над лодкой плотной колыхающейся завесой. И тут Афоня увидел на воде плавающие куски разбитой лодки, а затем он увидел человека — тот лежал на гальке, и в темноте белели ступни его босых ног... Афоня обошел бар слева, чтоб порыв ветра не смог бросить лодку на камни. Переверсившись через борт, он зацепил человека багром и втащил в лодку.

— Мулинка,— проговорил Афоня нерешительно: он не смотрел на лицо утопленника, боясь поверить своей догадке.

Афоня расстегнул на нем телогрейку, положил ему на грудь руку и почувствовал под ладонью слабый удар сердца.

Мулинка лежал между банок с согнутыми коленями. Афоня вылил ему на грудь компасный спирт и растирал так, что кожа горела на ладонях. Тело у Мулинки медленно согревалось. Афоня начал делать ему искусственное дыхание: Мулинка застонал, ноги у него судорожно передернулись. «Теперь Мулинка будет жить»,— подумал Афоня почти равнодушно, ощущая пустоту и холод в сердце. «Афоня нету труса... Тебя наша друг... Мулинка будет выручить друга...» — услышал он Мулинкины слова. И с внезапной ясностью он вспомнил весь их разговор и только сейчас понял, что произошло... Мулинка шел на промысел, чтоб защитить его от клеветы. Мальчик делал это ради дружбы, хотя и не мог простить Афоню. И Мулинке пришлось дорого заплатить за свою дружбу... Но почему Афоня

не догадался тогда обо всем? Может, потому, что земля так захватила его самого, что он был уже не в силах понимать других? «Если б вышел из Крестьяновки сразу, то не случилось бы этого надругательства», — тоскливо думал Афоня. И потом, когда возникли перед ним огни поселка, довел свою мысль до конца: «И поэтому должен я в море быть, в нем мое место».

Ночью он писал письмо Белкину. Получилось вот как: «Здравствуй, ученый Белкип! Посылаю тебе четыре тетрадки, которые я написал в поселке, когда бросил зверобойку. Три тетрадки по 12 листов, и в последней листок оторвался. В них я установил, что зверь, птица и человек, и вообще природа, обозлены между собой и гибнут один от одного. Но поскольку я человек, то больше всего не могу переносить, если это касается людей, и поэтому должен я обратно в море идти, чтоб спастись в нем все. А если тебе интересна моя жизнь, так ищи меня на спасателе «Атлас». С морским приветом к тебе Афанасий Белый, матрос первого класса».

Отплыл Афоня утром. Никто не провожал его. Когда оглянул Нерпичий мыс, вспомнил, что остался на нем якорь от его лодки. Но за якорем Афоня не пошел, потому что торопился быстрее попасть на место. Сидел он в лодке не шевелясь, погруженный в свои мысли, и вздрогнул, услышав знакомый голос. Поднял голову и увидел в небе орленка. Тот кружил над лодкой и что-то лепетал на своем языке, часто махая неокрепшими крыльями. «Отбилась от своих, — подумал Афоня, — теперь ему человек дороже отца-матери». Он полез в карман за папиросой и нащупал там Марьюшкину репку. Афоня крепко сжал ее в кулаке. Он безотрывно глядел на орленка, чувствуя, как звонко забилося в груди сердце. Тот долго провожал Афоню, выбиваясь из сил, далеко видный в пустом небе. Потом отстал и повернул обратно.



Полудворянин чистил двустволку, сидя на табурете возле печи, и по-смастривал через открытое окно во двор. Во дворе возле сарая коптилась рыба: густой ольховый дым поднимался к сараю по наклонной, покрытой листовым железом траншее и, охлаждаясь, окутывал селедку — она висела гроздьями на проволоке, золотом проблескивая в дыму. Возле костра сидели две рослые ездовые собаки и смотрели на огонь, свесив языки.

Заходящее солнце вливалось через низкое окно, отсвечивая на стенах и потолке. Этот дом состоял из одной громадной комнаты, раньше, по-видимому, их было несколько, но потом снесли перегородки. Возле окна стояла

кровать и самодельный грубый стол — на него было брошено несколько морских уток.

Тыльная стена была увешана охотничьими ружьями разных калибров. По ней, очевидно, производилась и пристрелка ружей, потому что штукатурка сплошь блестела от застрявшей в ней дроби, местами она была выбита до бревен. А многочисленные полки вдоль стен были уставлены мешочками с развешенной дробью и порохом, коробками с капсюлями, бутылками с ружейным маслом и всякой всячиной. Отдельно стояли статуэтки, мастерски выточенные Полудворяниным из моржовой кости. Они изображали предков Полудворянина — представителей красивого гордого племени айнов, которое обитало когда-то на Курильских островах и полностью вымерло при японцах. Родичи Полудворянина продержались дольше других, но и они сейчас покоились на небольшом погосте за домом — его отсюда не было видно. Полудворянин считал себя последним представителем айнов и очень гордился этим, и хотя он внешне походил на айна, только бороды у него не было (по преданию, все айны были очень высокие, в рыжих бородах), мало кто верил ему: никакого он языка не понимал, кроме русского, да и на островах появился недавно, когда стал работать на зверобойной флотилии, а до того воспитывался в детском доме во Владивостоке. Скорее всего, он придумал эту историю со своим происхождением, когда его списали с флотилии по инвалидности, чтоб, так сказать, на «законных правах» обосноваться на этом безлюдном острове, а потом сам поверил в собственную выдумку, и никто уже сейчас не оспаривал ее.

За окном послышался собачий лай и одновременно с ним стук щеколды на калитке. Во двор вошел кореец и, оглядываясь на рычащих собак, стал неуверенно пробираться к дому. Полудворянин повесил на стену вычищен-

ное ружье, сильно хромая, вышел на крыльцо, турнул собак. Кореец вошел в избу и сел на единственный табурет. Кореец пришел морем с рыбокомбината, одежда на нем и борода были белые от морской соли, усов у него не было. Это был старик с тонкими нервными пальцами игрока, маленький желтый кореец, особенно желтый сейчас, когда солнце освещало его худое лицо, хотя при дневном свете он мог вполне сойти за русского, если не улыбался. Кореец заметил на столе кусок зеркала и склонился над ним, приглаживая редкие волосы на голове... У него была сравнительно молодая жена, и поэтому он был постоянно озабочен своей внешностью. На этот раз он, по-видимому, остался ею вполне доволен, улыбнулся и посмотрел на Полудворянина:

— Оля тебе передала длинный привета,— и он показал, какой длинный привет передала его жена.

Полудворянин пропустил эти слова мимо ушей.

— Будет бодягу разводить,— сказал он.— Выкладывай, что у тебя...

— Шурка,— обратился к нему кореец.— Шуба просит тюлень...

— Откуда он взялся?

— С парохода. Сан-Ван привел...

Сан-Ван, то есть Александр Иванович, был сторож Северо-Курильского банка.

— Сколько заплатит?

Кореец показал сумму на пальцах.

Полудворянин посмотрел на календарь: был конец сентября — как раз день получки на рыбокомбинате. Ему все равно надо было ехать на рыбокомбинат за пенсией. Вышло, что кореец приехал вовремя. Но приезд его был необычный — кореец хотел впутать его в грязную историю. Это была уже не первая попытка с его стороны, и обычно

Полудворянин отвергал их, но на этот раз все-таки поддался на авантюру — ему позарез нужны были деньги. Он собирался в большое морское плавание и строил для этой цели лодку, а его друзья — старший инспектор рыбоохраны и поселковый уполномоченный милиции — были только мастера подбрасывать идеи, а денег от них не жди. А ему нужны были деньги, много денег: на двигатель, на обшивку, на дорожные припасы. Одной пенсией тут не обойдешься...

Полудворянин натянул поверх толстого свитера меховую куртку из оленьей кожи и пошел в сарай, чтоб взять дрыгалки.

В сарае лежала его лодка, вернее, ее каркас — гладкий, из мореной аянской ели, такой крепкой, что аршинный медный костыль входил с трудом. Полудворянин любовно провел ладонью по подкильным брусьям. Он представил, какой красавицей станет его лодка, когда он обошьет досками корпус — круглый, как яйцо, нигде не приложить линейки, — и покроет тонким нержавеющей железом, и выставит плотной фанерой изнутри, когда навесит руль, поставит мачту с парусом из розового полотна... Полудворянин с сожалением вышел из сарая, оставив дверь незакрытой, погасил по дороге костер и отнес селедку в дом — она уже достаточно прокоптилась. В доме он зажег лампу и повесил ее перед окном — он всегда зажигал свет, когда уходил в море; снял с гвоздя зеленый пограничный плащ и фуражку. Печь была горячая, и Полудворянин плотно затворил окно, чтобы в комнату не надуло. Он подумал, как будет приятно вернуться после плавания в эту теплую комнату, и у него сразу посветлело на душе.

Они перешли разрытый огород, путаясь ногами в картофельной ботве, и стали спускаться в распадок. Воздух был холодный и ясный, и солнце красиво освещало зеленые

пологие склоны распадка и поток, широко разлившийся посредине. Они видели озеро, которое смутно голубело через долину у верхней границы леса,— до него уже не долетал солнечный свет,— и силуэты аянских елей на берегу, а еще выше — стадо диких коз, которое цепочкой спускалось к водопою по голому склону. Распадок был покрыт кедровым стлаником, он рос прижатый ветром к земле, а понизу так переплетался корнями, что некуда было поставить ногу. Везде на кустах виднелись клочья линиялой медвежьей шерсти. Внизу их оглушил шум потока. Они переходили его, широко разводя ноги на скользких валунах, чтоб не упасть, вода была такой холодной, что это чувствовалось даже сквозь резиновые сапоги, и там, где ступала нога, образовывалась пенная воронка, а дно искаженно отражалось в бегущей воде. Полудворянин нагнулся напиться и увидел, как рыбина тенью метнулась вверх по ручью и стала на струе в пяти шагах от него: «каменка» — красно-пятнистая форель, а потом по воде замелькали большие тени, он поднял голову и увидел морских уток, которые низко летели над потоком. Это были крохали — длинноклювые, с белыми пятнами по серому перу, и гаги, белобокие утки. Они были жирные, только отлиняли, крылья казались очень маленькими по сравнению с туловищем, и летели они, неуклюже перевешиваясь корпусом назад; среди них было несколько топорков... «Поздновато стаиваются топорки,— подумал Полудворянин,— видно, засиделись в этом году на яйцах...» Утки непрерывно летели над потоком к морю, и было видно, как они, раскрыв крылья, садились на воду за полосой наката — внизу, по правую сторону от них.

На море был полный отлив, и волны беспорядочно вздувались далеко за береговой чертой. Полудворянин видел по волне, что скоро пойдет сильная зыбь, потому что

уже задувал горняк — сильный северо-восточный ветер. По всему берегу белели громадные остовы китов, полузасыпанные песком. Здесь было «китовое кладбище» — облюбованное этими зверями место на земле, куда они выбрасываются перед смертью. Может быть, это была легенда, что киты выбрасываются, скорее всего, они просто не успевали до отлива уйти в море и тем самым губили себя. Полудворянин как-то видел кита на мели, он был еще живой и все пытался перевернуться на бок, но не смог этого сделать и задохнулся, раздавив собственной тяжестью грудную клетку. Наверное, это была ерунда, насчет «китового кладбища», но во всяком случае остовов было очень много.

Лодка корейца лежала на борту — перо руля ушло глубоко в песок. Они поставили ее на ровный киль, развернули, ухватившись за фалинь, и столкнули в воду. Полудворянин сел за руль и повел лодку к тюленьему лежбищу, которое находилось по ту сторону острова. Уже смеркалось, когда они подошли к месту. Прямо перед ними поднималась гранитная стена длиной с версту, вода в тени казалась черной, как деготь, лодку сильно качало, она ударялась днищем о камни. Полудворянин снял руль и положил его в лодку, чтоб его не поломало на камнях. Отталкиваясь шестами, они подошли к берегу и в темноте чуть было не наехали на затонувший лихтер — он лежал на дне, наполовину занесенный песком и галькой, только мачты виднелись над водой. Они приткнули лодку у скалы и стали обходить ее, направляясь к лежбищу. Скала была продырявлена птичьими норами, в тишине было слышно, как птицы стучали клювами в гнездах, а потом скала осталась позади, сразу посветлело. Они увидели огромное котиковое лежбище, пустые дощатые бараки, в которых во время промысла жили сезонные рабочие, и

туннели, через которые рабочие пробегали с дубинами на лежбище. Возле бараков стоял щит общества охраны природы, сообщавший, что лежбище охраняется законом. Пароходам не разрешалось подавать сигналы на расстоянии в две мили отсюда, над лежкой было запрещено летать самолетам — среди зверей мог возникнуть такой переполох, что они передавили б друг друга. На лежбище было, наверное, несколько тысяч голов зверя. Ближе к воде лежали сивучи, чуть повыше — морские котики; холостяки занимали верхнюю часть лежки. Самки лежали вместе с детенышами, секачи возвышались над ними. Они ревели, мотая головами из стороны в сторону. Один секач, сивуч, отрывал камни с человеческую голову величиной — сивучи глотают их, чтоб они перетирали им еду в желудке. Гаремы уже распадались, но секачи еще были ревнивы и драки из-за самок возникали то здесь, то там. Они видели, как разгневанный секач схватил зубами вторгшегося на гаремную площадь холостяка весом в полтонны и отбросил его метров на десять в сторону. У одной самки происходили родовые схватки: она часто изгибалась и ложилась на спину и вдруг легла на грудь, оперлась на передние лапы и высоко подняла заднюю часть тела... Потом она обернулась к новорожденному, разорвала зубами плаценту и сбросила с него остатки родовой оболочки. Детеныш лежал без движения, и мать приводила его в чувство, осторожно ударяя нижней челюстью... Животные, казалось, не обращали на них внимания, но Полудворянин знал, что лучше не маячить у секачей перед глазами.

Они поднялись к верхнему краю лежки, где отдельно лежали холостяки — неполовозрелые самцы, которые не смогли образовать гарема. Среди них, видно, были и просто неудачники, которым не повезло в любви... Они убили

несколько тюленей-холостяков, тут же разделали их и перетаскали тяжелые шкуры в лодку. На шкурах стояло клеймо ТИНРО — оно было выведено нитрокраской на основании хвоста, — и Полудворянин подумал, что если их по дороге накроет рыбохрана, то неприятностей не оберешься. Но отвратительней всего было то, что все случилось на его острове, недалеко от его дома. Он знал, что через пять минут чайки прилетят сюда и расклюют этот песок с кровью, и все это занесет песком, и все равно ему было не по себе. Кореец никак не мог завести двигатель и возился в темноте под капотом, а потом зажег фонарь, и тут все загудело от свиста крыльев и птичьего крика: птицы бросились из гнезд на свет. Полудворянин прыгнул в лодку, задул фонарь и оттолкнулся от берега шестом.

2

Горняк только-только пабирал разгон, и море волновалось под его дыханием, отзываясь глухим плеском. Волна шла длинная, невысокая, лодка хорошо отыгрывала на ней. Несмотря на то что ветер был попутный, они продвигались довольно медленно: в двигателе разошлась муфта, можно было идти только средним ходом, до отказа выжимая педаль сцепления. «Видно, переводил двигун с полного заднего на полный передний, вот и случилось это!» — с неудовольствием подумал Полудворянин о корейце. Эту лодку он продал корейцу месяца полтора назад, когда принялся за постройку судна, но сохранил за собой право арепды: ему время от времени приходилось бывать на рыбокомбинате по разным причинам. Он посмотрел на часы: было уже восемь вечера. Таким ходом они придут на рыбокомбинат в половине одиннадцатого, то есть опоздают на полчаса к пароходу, который,

по словам корейца, отходил в десять. Вполне возможно, что пароход их обождет. Полудворянин знал «человека в шубе»: если тому понадобились тюленьи шкуры, то можно было смело рассчитывать на то, что он задержит пароход. Если бы ему приспичило, он мог бы остановить солнце, не то что пароход. И самое нелепое было то, что человек в шубе тем не менее — заклятый неудачник. Он был с запада, чужой среди них — никто не давал ему поблажки.

Можно было ожидать, что и на этот раз у него не выгорит. Но Полудворянин знал, что это не остановит человека в шубе и он не возвратится к себе на запад: очень упрямый человек!

Они шли по ветру более часа, а потом Полудворянин стал забирать к югу, чтоб срезать угол. Ветер теперь дул в левый борт, лодка стала проваливаться на зыби. Кореец никак не мог усидеть посреди банки: когда лодка валилась на правый борт, он бросался к левому, когда она зарывалась левым бортом, кореец тотчас оказывался на правом. Все это привело к тому, что лодку стало забрасывать брызгами, они вымокли с ног до головы. Корейцу часто приходилось ходить морем, но он не был моряком, психология сухопутного человека была у него в крови: до него никак не доходило, что самое надежное в его положении — сидеть на одном месте. Полудворянин кричал на него, но это было бесполезно... Морской трамвай пропыхтел мимо, оседая в воде на плапшир, — шел с рыбокомбината в Северо-Курильск. Он намного задержался на комбинате, по времени пора было выходить из Северо-Курильска обратным рейсом. Наверное, из-за сезонниц, подумал Полудворянин. Капитан не смог к отходу собрать команду... В этом году на рыбокомбинате было много девушек, из-за них ломались все графики.

Полудворянина интересовало, привез ли он инкассатора из Северо-Курильска. Если инкассатор отправится вторым рейсом, выдача полочки может растянуться до рассвета. Тем более, что второго рейса могло и не быть: через несколько часов трамваю будет трудно пробиться к рыбокомбинату. Полудворянину не терпелось побыстрее вернуться домой и взяться за обшивку своей лодки, хотя он понимал, что все равно придется задержаться здесь на несколько дней: надо купить разные материалы, необходимые для работы,— лучше всего, когда у тебя их будет с запасом. Кроме того, он повидает свою девушку — не видел ее больше месяца. Сезонники скоро заканчивали работу, а потом девчонок уже не будет до весны. Полудворянин мог вполне обходиться и без них, но этой девчонки ему порой не хватало. Она была не похожа на остальных, с которыми он до этого был знаком, и, как показалось Полудворянину, сильно привязалась к нему. Он не особенно баловал ее встречами: в конце концов у этих западных девчонок одно на уме — приезжают сюда, чтоб выйти замуж, а Полудворянин считал себя человеком, не созданным для семейной жизни. Во всяком случае, сейчас у него были другие планы.

«Сегодня на рыбокомбинате большой день,— думал Полудворянин.— Соберется вся местная контрабанда. Чего только не навезут: водку, медвежьи шкуры, икру, моржовые клыки — старшему инспектору Козыреву будет чем поживиться. Скорее всего, рыбохрана сегодня не выйдет в море, они будут сторожить браконьеров прямо в бухте»... И только Полудворянин подумал об этом, как кореец заметался в лодке и что-то прокричал ему, показывая назад. Полудворянин оглянулся и увидел катер рыбохраны — его болтало на зыби примерно в ста метрах от них. Он бы не разглядел катер в темноте, но там горел

фонарь, и в его свете он ясно видел, что это был катер рыбохраны, даже разглядел трехзначный номер, выведенный суриком под левой скулой. Человек, который держал фонарь, был старший инспектор по охране природы Козырев, остальные люди едва угадывались.

Полудворянин резко повернул румпальник — тяжелогруженная лодка едва не опрокинулась на волне. Он решил идти к рыбокомбинату кружным путем, хотя понимал, что если на катере заметили лодку, то их песенка спета: на катере стоял двигатель в двести лошадиных сил... Пройдя несколько метров, Полудворянин оглянулся снова: катер охраны стоял на прежнем месте, Козырев сидел на корточках на корме, опустил фонарь под капот, — видно, на катере испортился двигатель. Даже если они и видели впереди идущую лодку, то теперь им было не до нее. Как понимал Полудворянин, они теперь застряли надолго. Эти челябинские дизеля могут безотказно работать несколько лет, но если у них испортится что-либо, то не сразу разберешь, что к чему... Нечего носиться в штормовую погоду, думал Полудворянин, стоял бы в бухте и спокойно ловил контрабанду; этот Козырев вечно хочет убить двух зайцев... Он понимал, что значит в такую погоду торчать посреди моря с испорченным двигателем, и сочувствовал инспектору. В другой раз он обязательно повернул бы к нему на помощь — по долгу моряка и товарища: они с Козыревым, несмотря ни на что, оставались хорошими друзьями, даже после того, как Козырев ни с того ни с сего предложил Полудворянину стать его сыном... Но сейчас Полудворянин не мог идти к нему на выручку: Козырев сразу бы накрыл их с корейцем. Пожалуй, Козырев сумел бы оценить его поступок, но все равно поднял бы такой шум, что на них по всему побережью показывали б пальцем, и тогда, навер-

ное, ни о каком морском плаванье не могло быть и речи. «Я за ним вернусь,— успокоил себя Полудворянин.— Сброшу шкуры, и прямо к нему...» Он вел лодку по старой дороге, и уже фонаря позади не стало видно, и казалось, все обойдется, как вдруг кореец опять забеспокоился. «Неужели отремонтировали двигатель?» — подумал Полудворянин, оглянувшись. Нет, это был знакомый ему сейнерок, который сейчас направлялся, наверное, к месту лова. На сейнере их сразу заметили, изменили курс и быстро нагнали — теперь они шли, почти касаясь друг друга бортами. Вахтенный матрос направил на них с мостика прожектор — и лодку, и людей, и воду вокруг словно обожгло светом. Кореец закрыл руками лицо, а Полудворянин, не выпуская руля, смотрел прямо на огонь, но у него было такое чувство, словно его раздели донага.

— Чья лодка? Куда идете? — спрашивал сверху молодой голос. — У вас есть разрешение на лов рыбы в этом районе? — вопросы следовали без остановки.

Полудворянин толкнул корейца, чтоб тот взял руль, а сам шагнул на нос лодки. Он был такого высокого роста, что сумел дотянуться до бортового ограждения сейнера. Здесь, возле борта, свет от прожектора был не такой сильный, и Полудворянин на мгновение увидел матроса, только на мгновение, потому что тот сразу же наклонил прожектор и все опять расплылось перед глазами... Это был молодой парнишка, наверное новичок, их еще называют на флоте «селезни».

— Убери фонарь, чучело! — сказал Полудворянин. — Кто на вахте?

— А тебе кто нужен?

«Мне нужен Славка Паршин», — подумал Полудворянин. Штурман Паршин был его приятелем. Правда, они

недавно здорово не ладили из-за девчонки. У них всегда так выходило, что девушка, которая нравилась Полудворянину, немедленно начинала нравиться Паршину, и наоборот. Соперничество шло с переменным успехом, и ссоры тотчас забывались, но в последний раз штурман Паршин влюбился в девушку Полудворянина не на шутку и ни за что не хотел признать себя побежденным. Однако Полудворянин не думал, что это настолько испортило их отношения, что он продаст его. Скорее всего, самолюбивый Паршин нарочно не сделает этого, чтоб Полудворянин не подумал, что он придирается к нему из ревности...

Тут как раз вышел штурман Паршин, и «селезень» сразу стал что-то шептать ему.

«Селезень» говорил без передыху, и Паршин рассеянно слушал его, дожидывая на ходу, — его, видно, оторвали от ужина. Штурман Паршин стоял в открытой рубашке, он был небольшого роста, с залысинами, в очках, но стройный и очень красивый молодой человек. Он дал договорить «селезню» до конца, потом глянул вниз и рассмеялся.

— А-а, хозяин острова! — сказал он. — Здорово, Шурка! Куда это ты на ночь глядя?

— За получкой, — ответил Полудворянин. — Получка сегодня на рыбокомбинате.

— А я уже думал, что ты в кругосветном плаванье, где-либо возле Аляски...

Разумеется, Паршин шутил. Он вовсе этого не думал, потому что знал, что для такого путешествия нужно было специальное разрешение, которого у Полудворянина не было. Правда, он имел сопровождающую бумагу с печатью, подписанную Козаревым и поселковым уполномоченным милиции, в которой говорилось, что «предъявитель сего гражданин СССР Полудворянин Александр Иванович от-

правляется в кругосветное путешествие с целью побить все капиталистические рекорды», но эта бумага не шла в счет. К слову говоря, Полудворянин не без успеха добивался специального разрешения, в порту об этом знали и обещали походатайствовать за него. На худой конец Полудворянин решил отправиться в плавание и без специального разрешения...

— Слышь, Славка,— вспомнил Полудворянин,— там за мной буксует Козырев с инспекторами. Я бы взял его на буксир, да у самого двигун неисправный... Видел его?

— Нет.

— Когда надо, так вас нет, а когда не надо...— вывралось у Полудворянина. Он не договорил, потому что понял, что сболтнул лишнее и раскрыл свои карты, и теперь отчаянно соображал, что сделать, чтоб Славка Паршин этого не заметил.— Дай закурить,— сказал он, так и не придумав ничего.

Кажется, Паршин истолковал его смущение по-другому.

— Ладно, не договаривай,— сказал он.— Иванку я тебе уступаю, черт с тобой...— Иванкой звали ту девушку, из-за которой они не ладили.— Ух, не дотянуться до тебя! — Он свесился с мостика с папиросой в руке.

— Видно, тебя на морозе делали,— съехидничал Полудворянин насчет его маленького роста.

Когда он брал у Паршина папиросу, то вдруг заметил, что тот внимательно рассматривает его руки. Полудворянин тщательно вымыл руки и сапоги после лежбища, и никаких следов на нем не было, но это сказало ему, что штурман догадывается, какой они везут груз. Достаточно было взглянуть на корейца — одежда на нем была вся

в подтеках птичьего помета,— как становилось ясно, в чем дело. Полудворянин посмотрел Паршину прямо в глаза. Паршин отвел взгляд, он вдруг заторопился.

— Волна пока небольшая, ничего с ним не случится,— Паршин говорил об инспекторе.— Подберу на обратном пути... Ну, будь здоров...

Теперь Полудворянину стало ясно, что Паршин решил пустить по его следу инспектора Козырева. Насчет обратного пути — это была неостроумная уловка, Полудворянин знал, что он со всех ног припустит сейчас к инспектору... «Дешевый,— подумал Полудворянин, подавая Паршину руку,— видно, спал и видел, как мне отомстить за девчонку: теперь не дадут пропуск в порту, оставят в дураках...» Он понимал, что Паршин так не думал, что это была ерунда, но он чувствовал, что влип, и от злости валил с больной головы на здоровую...

— Приезжай, уток постреляем...

— Обязательно буду...

Они шли еще около часа, когда что-то смутно засветилось над головой,— это был снег, который лежал на вершинах гор,— а потом стал виден створ бухты и замелькали огни рыбокомбината.

3

Вода в бухте была усеяна плавучим лесом — его рубили в горах и на грузовиках свозили к морю. Ветер трепал флаг над конторой пристани. На берегу высились мокрые штабеля бревен, рабочие растаскивали их крючьями. Возле причальной стенки сверкал огнями лесовоз. Полудворянин направил лодку прямо к нему. Кореец стоял на

носу в ярком свете судовых прожекторов и отталкивал бревна багром...

На причале их ожидали «человек в шубе» и сторож Северо-Курильского банка. Человек в шубе был упитанный приятный мужчина сорока с лишним лет с интеллигентными манерами, с дорогим перстнем на пальце белой руки. Он приехал сюда первым пароходом и сейчас отправлялся обратно. Сторож банка был тощий, с бесконтрольными движениями хронического алкоголика, носил телогрейку и галстук, который маскировал отсутствие пуговиц на рубашке. Сторож работал в Северо-Курильске, а сейчас у него был отпуск, и он проводил его на рыбокомбинате.

— Товарищ Полудворянин,— обратился к рулевому человек в шубе.— Вот ваш гонорар, распределите по своему усмотрению.

— Нас заметили,— сказал Полудворянин, пересчитывая деньги.

— Это меня не касается,— ответил человек в шубе.— Я вас в глаза не видел, вы поняли меня?

Кореец засмеялся, он принял его слова за шутку.

— Разве не так? — Человек в шубе достал дорогую папиросу и постучал по коробке.

Полудворянин посмотрел на него. Человек в шубе был аферист, который купил его за деньги и сейчас вертел им, как хотел. И хотя рулевой понимал, что продал товар задешево, но эти деньги были нужны ему позарез. Поэтому он только смотрел на человека в шубе и ничего не говорил ему.

— А ты? — Человек в шубе, казалось, только сейчас заметил стоявшего рядом корейца.

Кореец застеснялся, опустил руки по швам и стал смотреть в другую сторону.

— Ты что, немой?

Кореец покачал головой.

— Он плохо разговаривает по-русски,— сказал Полудворянин.

Тут сторож банка наклонился к человеку в шубе и что-то сказал ему. Человек в шубе поморщился:

— Я же дал тебе...

— Разве я говорю, что нет? — изумился сторож. — Обращаюсь, так сказать, в смысле будущего сотрудничества, как интеллигент к интеллигенту...

— Как ты еще банк не ограбил... — Человек в шубе снова достал бумажник.

— Ограбить банк нетрудно, — согласился сторож. — А куда отсюда убежишь? Бежать ведь некуда...

На палубе парохода послышалась швартовая команда.

— Я еще наведуясь к вам, — сказал человек в шубе. — Хорошее здесь место, большие дела можно делать... — Он докурил папиросу, погасил ее в коробке и протянул Полудворянину руку. Полудворянин пожал ее. Человек в шубе, не оглянувшись, поднялся по трапу на палубу парохода. Полудворянин смотрел ему вслед.

— С хорошим человеком я тебя познакомил, а, тезка? — толкнул его сторож банка.

— Иди знаешь куда! — разозлился Полудворянин. — Еще тебя тут не хватало... — Он отсчитал из вырученных денег несколько бумаг — это была доля корейца, остальные положил в паспорт и сунул во внутренний карман куртки. Потом он повернулся к корейцу, чтоб отдать долю, и увидел, что старик стоит с непокрытой головой и, вывернув наизнанку шапку, разглядывает ее на свету. Вид у него был сконфуженный.

— Голова полез маленько, — сказал он. — Гляди ты...

— Это он у тебя от страха вылез, волос-то, — усмех-

нулся Полудворянин. Он протянул корейцу деньги, тот взял их не глядя, и все вертел в руках шапку, и бессмысленно улыбался, и по всему было видно, что в таком состоянии он пробудет не пять минут...

Полудворянин спустился к лодке, отогнал ее под недостроенный пирс и приткнул между свай. Он снял с себя плащ, вынул из него фонарь и переложил в карман куртки, а плащ оставил в лодке под брезентом. Потом перевязал швартовый, затянув его калмыцким узлом, чтоб при необходимости отвязать одним рывком.

По осыпающейся гальке он перешел берег и стал подниматься в гору. Дорога здесь была песчаная, пронизанная живыми плетнями, чтоб песок не размыло, и блестела под дождем. Ему было трудно подниматься с больной ногой, но он шел не останавливаясь, обогнул пустой двор лесопилки, усеянный древесной крошкой, и выбрался на главную улицу. Улица была вымощена ракушечником — его подрывали с морского дна специальными граблями, по обе стороны стояли бывшие японские лавочки со стершимися иероглифами. Посреди улицы был объезд для машин, но Полудворянин не заметил его и едва не свалился в траншею для укладки труб, наполненную водой. Дорога снова стала подниматься и возле недостроенного створа круто сворачивала влево, вниз. Он увидел сверху темную бухту с барашками волн и огни удалявшегося лесовоза, а слева внизу виднелись освещенные причалы рыбпристани. Там мелькали серые фигурки людей и были видны струи дождя, подсвеченные электричеством, и берег со штабелями бочкотары... Сезонники были в брезентовых робах и широкополых брезентовых шляпах — все одеты одинаково, по виду трудно было отличить мужчину от женщины. Они ловко катали бочки, управляя ими при помощи держателя из толстой проволоки, — дер-

жатель охватывал плашмя катящуюся бочку за донышки, но почти не тормозил хода. Иванка работала учетчицей на пристани, но ее трудно было увидеть среди остальных. Полудворянин остановился посреди дороги — может, сама Иванка увидит и окликнет его. Он стоял довольно долго — на него уже стали оглядываться — и, не выдержав, направился к лабазу: подумал, что, может быть, Иванку перевели на разделку рыбы. В разделочном цеху стоял пряный запах свежей рыбы, лязгал конвейер, за столами работали молодые девушки в клеенчатых передниках, их руки с ножами мелькали так быстро, что за ними было трудно уследить. Полудворянин увидел знакомую девушку и спросил у нее, где Иванка. Та ответила, что Иванка взяла на сегодня отгул и, наверное, в бараке. Бараки были беспорядочно разбросаны на пустыре за лабазами — тоже все одинаковые, ни одно окно не светилося. Полудворянин сколько ни приезжал сюда, так и не запомнил, в каком из них живет Иванка. Он вымотался за дорогу, был голоден и решил перекусить — столовая горела окнами в конце улицы. Полудворянин направился к ней мимо барakov, как вдруг на крыльце одного из них появилась женская фигурка в белом и окликнула его, а потом, не выдержав, побежала к нему по грязи, высоко поднимая ноги в туфельках.

— Ты кого тут выглядывала?

— Тебя... Знала, что приедешь сегодня... У-у, хромой, ведь прошел бы мимо, если б не позвала! — упрекнула она его и так сильно ударила кулачком под вздох, что Полудворянин поперхнулся.

— Будет сегодня получка? — спросил он.

— Вчера должны были выдавать, — ответила она. — А сегодня сказали, что заплатят в следующем месяце... Не горюй, зарáз все получим! — успокоила она его.

— Да мне все равно,— сказал он.— У меня их вон сколько...— Он достал паспорт с деньгами и показал ей.

— Ого! — удивилась она.— Никогда не видела таких...

— Можешь посмотреть, — разрешил он.

— Зачем тебе столько?

— Для лодки...

— А-а... Скоро отправляешься?

— Как только закончу работу. Видно, в начале нояб-
ря... Если ничего не случится.

Они, не включая света, вошли в комнату — там на тумбочках были ромашки в стаканах с водой. Полудворянин тщательно вытер ноги на охалке еловых веток у двери и сел на табурет возле окна, а Иванка пристроилась на кровати, напротив него.

Из окна была хорошо видна рыбпристань: на причалах все сновали серые человечки, отсюда они казались немного побольше тех, которых Полудворянин видел, когда стоял возле створа...

— Прямо как заводные,— усмехнулся он.— Большие рубли заколачивают...

— Что рубли! — ответила она.— По мне, хоть их и не будь вовсе...

— Из-за чего ж ты сюда приехала?

— Из-за тебя,— ответила она.— Чтоб сидеть тут и ждать, когда ты приедешь...— Иванка казалась невеселой.— У тебя на острове тоже дождь? — спросила она.

— Нет,— ответил он.— У меня все нормально.

— Чего ж ты уезжаешь, если все нормально?

— Так я ж ненадолго,— ответил он.— Только в Америку и обратно, пока нога отойдет.

— Удивительно, что и отсюда можно уехать куда-либо

дальше. Кажется, дальше и уехать некуда... Зачем ты уезжаешь? — снова спросила она.

— Для авторитета: всем докажу, какой я есть, — заволновался Полудворянин. — Лучшего стрелка флотилии бросили в грязь! Думают: раз инвалид, так и не годен ни на что. Мы, айны, не такие... Увидишь, во всех газетах обо мне портреты на целую страницу будут печатать. Только мне плевать на портреты, я и так красивый — смоюсь туда и обратно, пока нога отойдет...

— Здоров ты врать... — Она сунула руку ему под свитер и, нащупав рукоять ножа, вытащила его из чехла. — Хочешь, сделаю тебе харакири?

— С тебя станет, — усмехнулся Полудворянин.

Когда она наклонилась к нему, платье натянулось на ней, оголив колени, и густые ореховые волосы обрушились сверху, закрыв и лицо, и колени, и грудь, так что стало темно перед глазами. Полудворянин ощутил ее дыхание возле лица и запах простого мыла, который исходил от ее волос, и пропустил руки ей под волосы, широко раздвигая их, как пловец воду, и осветилось ее лицо и шея, открытая до ключиц в круглом воротнике кофточки — кожа на лице была нежная и гладкая на ощупь, ни ветер, ни дождь, ни работа не смогли огрубить ее...

— Шурка, не дури... Сейчас сюда придут... — говорила она, задыхаясь. — Как тебе не стыдно... Руки холодные, больно... — Ей удалось освободиться, и она оттолкнула его. — Ты совсем меня не любишь, раз делаешь это... Ты думаешь, что это мне должно нравиться, а мне это не нравится...

— Говорят, так только до первых родов, а потом уже нравится, — засмеялся он.

Она забила в угол кровати, как затравленный зверек. Желание еще мучило ему голову, но он постепенно приходил в себя. Внутри у него будто отвалилось что-то, и он почувствовал такую нежность к ней, что у него перехватило дыхание. Она никак не могла к этому привыкнуть и боялась его в эти минуты. Эта девушка не знала до него никого и не могла его понять, и в эти минуты ему тоже казалось, что у него никого не было, кроме нее, и он знал, что любит ее...

— Уходи, — сказала она и посмотрела на часы. — Ко мне должны прийти...

— Кто к тебе придет? — насторожился Полудворянин.

— Что ты ко мне привязался? — разозлилась она. — Слышь, уходи! Уходи и не приезжай больше! Чтoб тебе утонуть в этой Америке!

— Ладно, я на тебя не обиделся, — сказал Полудворянин, хотя на самом деле он очень обиделся за ее последние слова.

Иванка открыла ему дверь и, когда он уже выходил в коридор, вдруг тихо сказала ему вслед:

— Шурка, мне кажется, что я сегодня умру...

— С чего тебе взбрело? — удивился Полудворянин, останавливаясь.

— Я чувствую, я боюсь... А теперь я решилась, и так боюсь, так боюсь, Шурка... — непонятно говорила она. Полудворянин взял ее за руку.

— Иванка, ты не думай, что я тебя брошу. Вот только вернусь с плавания, сразу тебя разыщу, разыщу ведь... — говорил он и вдруг подумал: что, если это плавание — по боку, посадить ее в лодку и назад: уток стрелять, рыбу ловить, спать вдвоем возле теплой печки — он не сомневался, что Иванка побежит за ним хоть на край света... и с трудом подавил в себе это желание.

— Здоров ты врать,— засмеялась она и затворила дверь, он услышал, как щелкнул замок.

Полудворянин вышел из барака и некоторое время шагал по грязи неизвестно куда, ничего не видя перед собой, потом остановился, застегнул куртку и направился в столовую.

4

Столовая работала круглые сутки. У крыльца стоял большой крытый грузовик с утепленной кабиной. Эти машины обслуживали лесорубов на трассе. Дверь столовой была открыта, девушка-уборщица из сезонниц выметала сор. Когда Полудворянин прошел через коридор, она затерла его следы мокрой тряпкой. Просторный рубленый дом был разделен занавесками на две половины. В первой половине, собственно, и была столовая, во второй жила заведующая с сыном и кореец, ее муж. Столовая была уставлена круглыми сосновыми столами на изогнутых ножках, без скатертей, в углу блестела изразцовая печь. Из посетителей был только сторож банка, который возле печи проводил свой отпуск — пил нечто крашеное, похожее на жидкость осьминога. Полудворянин подошел к буфету и нетерпеливо постучал кулаком по стойке. Он слышал шум воды в моечной напротив и видел женскую фигуру, отраженную в запотевшем зеркале, которое виднелось в полуотворенную дверь, но к нему долго никто не выходил, а потом вышла жена корейца с грудой мокрых стаканов на подносе. Когда она увидела Полудворянина, щеки у нее порозовели. Она быстро поставила поднос со стаканами, стянула с себя немытый халат, затолкала его под стойку и подала ему руку. Полудворянин видел, что ей очень

хотелось вернуться в моечную и глянуть в зеркало, но она пересилила себя. Жена корейца была низенького роста, с полной красивой грудью, черная коса по-девичьи лежала на груди — конец косы был распущен; круглое лицо женщины с карими глазами, с темным пушком над губой казалось очень молодым, и кожа на открытых плечах была гладкая и розовая, но руки — сухие, морщинистые, перевитые жилами — выдавали ее возраст...

— Приехал, наконец,— сказала она, смущенно улыбаясь и не глядя на него.— И как тебе не скучно жить одному?

— А чего мне скучать? — ответил Полудворянин.— Картошка есть, солонина, дичь всякая, теста завел целую бочку... А рубаху я себе сам выстираю...

— Ты все умеешь, не то что мой...

— Где он?

Она показала на занавески.

— Валик тебя целый день ждет не дождется,— сказала она о сыне.

— А ты? — в шутку спросил Полудворянин и тотчас пожалел об этом, потому что в глазах женщины, смотревших теперь прямо на него, проглянул такой голодный, неутолимый огонь, что, казалось, изменил ее лицо. Но она снова пересилила себя и ничего не ответила ему.

Полудворянин посмотрел на меню:

— Борщ,— сказал он,— только...

— Будет как кипяток,— подхватила она. Она знала, что он любит, чтоб все было или очень горячее, или очень холодное.

— И водку... Только не разводи бодягу,— Полудворянин кивнул на стакан, который держал сторож банка.— Кому не надо — не придет, кому надо — не заметит,—

успокоил он ее. Водку на рыбокомбинате продавать за-
прещалось.

— А я не боюсь,— ответила она и вытащила из-под прилавка темную бутылку женьшеневой водки.— Сейчас подавать или подождешь борща?

— Валик не спит?

— Спит, наверное... Ты иди, а то потом будет обижаться, что не разбудил...

Полудворянин, боднув головой занавески, вошел во вторую половину. На хозяйской половине было человек десять мужчин: лесорубы, охотники, шоферы с трассы. Они сидели вокруг длинного стола и играли в польский банчок. Кореец находился среди них. Пожилой лесоруб с красным, будто обваренным лицом сидел на корточках возле топки и прикуривал от головешки, которую он держал в руках. Все мужчины были в свитерах, черные полубубки казенного образца горой лежали на полу. Банкомет с хрустом распечатал новую колоду и стал метать карты веером по кругу. Остальные, затаив дыхание, следили за ним. Кореец мял в руках злосчастную шапку — она все еще была вывернута наизнанку... Полудворянин отодвинул еще одну занавеску — слева от входа. За ней стояла железная кровать, и сын хозяйки спал на ней, по привычке укрывшись одеялом с головой. Везде были разбросаны игрушки — грузовики разных размеров. Полудворянин сел на корточки и стал складывать их в одно место. Валик приподнял краешек одеяла и, не подавая голоса, сонно следил за ним темными глазами.

— Ах ты, лентяй,— сказал Полудворянин,— всегда за тебя приходится вкалывать...

— Привез кита и курицу?

— А как же...— Полудворянин запустил руку в кар-

ман куртки и вытащил оттуда две статуэтки из моржового клыка.

— Молодец,— похвалил его Валик. Он взял статуэтки, повернулся к нему спиной и сказал, засыпая: — Ты самый хороший, ты меня никогда не обманываешь...

Полудворянин засмеялся, и, довольный, пошел от него, и столкнулся у порога со своим приятелем — поселковым милиционером Генкой Волынщиковым, который вступал во вторую комнату.

— Здорово,— Генка подал ему холодную мокрую руку. Лицо у него тоже было мокрое, с фуражки капало.— Все играете? — спросил он с осуждением, обращаясь к игрокам.

— Неужто запретили по закону? — поинтересовался краснолицый лесоруб.

Волынщиков ничего не ответил ему, вытащил из сумки платежную книжку и стал выписывать квитанцию.

— Эти не трогай,— сказал банкомет.— Лексейч, рассчитайся с ним...

Краснолицый лесоруб достал бумажник и, сосчитав играющих, заплатил за всех. Генка Волынщиков дал ему взамен квитанцию, и лесоруб аккуратно сложил ее и спрятал в бумажник. Волынщиков погрел над огнем озябшие руки, потом, вместе с Полудворяниным, они вышли в столовую. На столе уже «разводил пары» борщ и стоял наполненный до краев стакан водки. Полудворянин взял с подноса еще один и отлил в него из полного стакана.

— Не буду,— Волынщиков предостерегающе поднял руку.— И в рот не возьму.

— Так ведь ты уже кончил дежурство...

— Сегодня у нас круглосуточное.

— Как стал милиционером, так забыл ты морскую дружбу,— упрекнул его Полудворянин.— Выпей: кому не надо — не придет, кому надо — не заметит...

Волынщиков выпил. Сторож банка встретил это громким одобрением и отсалютовал из своего угла стаканом — он уже был здорово навеселе. Полудворянин отправился за второй ложкой, и они, обжигаясь, стали хлебать борщ из одной миски.

Полудворянин вдруг достал паспорт с деньгами и показал Волынщикову.

— Откуда у тебя столько денег? — удивился Генка.

— Могу ответить...— Полудворянин отодвинул пустую посуду жене корейца, которая подошла к ним.— Загнал Шубе шкуры с лежбища...

Генка, видно, поверил ему, потому что не решился больше расспрашивать.

— Прямо помешались все на этом рыбокомбинате,— сказал он.— Вчера Вовку Шимонаева застукали: привез медвежью шкуру — такую облезлую, где он только выкопал такого медведя... Тоже б купили, сезонники любят такие вещи... Влепили ему штраф для начала, чтоб неповадно было...

— Володю мог бы и выручить: моряк все-таки...

— Выручить? Я браконьеров не выручаю, понял? — Генка вроде захмелел от выпитого.— И тебя не пожалею, хоть ты и друг мне...

— Слышь,— наклонился к нему Полудворянин.— У тебя из конфискованного есть что-либо для лодки?

— А что тебе надо?

— Японская фанера...

— Вроде есть...— Генка засмеялся.— Совершишь плаванье, Шурка, меня и Козырева не забывай — мы тебя на дорогу вывели, не забывай нас...

— Мы, айны, ничего не забываем...

— Все равно сорвешься ты со своим характером,— Генка положил ему руку на плечо.— Посажу я тебя,— пообещал он,— посажу, но все равно любить буду...

— И на том спасибо...

Ему вдруг стало хорошо. Это всегда случается вдруг. Вроде все шло как обычно и люди кругом — ты их давно знаешь, ничего они тебе особенного не сделали, ни хорошего, ни плохого, но вдруг тебе становится хорошо среди них. И тогда ты пачинаешь распространять это хорошее чувство, которое свалилось на тебя, все шире и шире вокруг, насколько обнимет твоя душа. Вот рядом сидит его друг и в море плывут его друзья: Славка-штурман, инспектор Козырев, вся зверобойная флотилия, и печка горячая в углу, за занавесками играют в карты, и Иванка, и сезонники под дождем... Всем им сейчас должно быть хорошо, если хорошо тебе... Если ты родился среди людей, если ты тонул, но не утонул, если ты хватал удачу за горло и неудача была твоим товарищем, то в конце концов наступит такая минута, когда ты оценишь все это вместе. И тогда тебе станет хорошо. И все равно, где это произойдет — в море на лодке, или на песчаной дороге, или вот в этой комнате...

На улице слышался шум расплескиваемой грязи, и возле столовой остановилась санитарная машина. Две девушки в халатах вошли в столовую. Одна из них была незнакома Полудворянину. Он посмотрел на ее длинные, стройные ноги, когда она проходила мимо, и она, словно почувствовав его взгляд, споткнулась на ровном месте и с неудовольствием оглянулась на него. Девушка была в очках, но у нее было такое хорошее лицо, что уже никакие очки здесь не могли ничего испортить.

— У кого первая группа крови? — спросила она, раз-

двинув запавески и обращаясь таким образом ко всем посетителям столовой сразу.— Наверное, у вас? — Она смотрела на краснолицего лесоруба.

— У меня? — переспросил лесоруб.— Что ж, вполне может быть...

— Поехали с нами: надо проверить... И вы тоже...— Теперь она показывала на банкомета.

— Да вы что? — растерялся банкомет.— Не видите, какая игра...

— Произошел несчастный случай, необходимо переливание...

— Ну и переливайте себе...— Банкомет закатал до локтя свитер. Остальные, не прекращая игры, сделали то же самое. Корец посмотрел на всех и тоже закатал рукав.

— Надо проверить, какая у вас группа. Нужна только первая...

— Ну и проверяйте...

— Тогда поехали в больницу!

— Да вы что? — завел свое банкомет.— Не видите, какая игра...

— Берите у меня,— сказал Полудворянин.

— У вас первая? — Девушка повернулась к нему.

— А какая, по-вашему, может быть кровь у айна? — обиделся Полудворянин.

— Какого айна? — Она ничего не слышала про них.

— Берите у него, это наша гордость,— сморозил ни к селу ни в городу Генка Волынщиков.

— У меня первая,— Полудворянин пододвинул ей стул. У него в самом деле была первая группа.

— Вы выпивали сегодня? — Кажется, она уловила запах спиртного.

— Водка в любом деле не повредит,— сострил из своего угла сторож банка.

— Я трезвый...— Полудворянину очень хотелось, чтоб эта симпатичная девушка взяла у него кровь.— Я вам скажу, что ни у кого на побережье вы не найдете такой крови, как у меня! — похвастал он, обнажил руку и положил ее девушке на колени.

У него была большая мускулистая рука с такой темной от загара, обветренной кожей, что вены на ней не были видны. Девушка с отвращением посмотрела на нее.

— Я возьму у вас четыреста грамм,— сказала она.— Это ничего?

Полудворянин кивнул. Он чувствовал под ладонью пухлую нежную кожу ее колен, незащищенных грубым полотном юбки,— это его волновало,— и он уложил руку поудобнее. Она поняла это, покраснела, переложила его руку на стол, со злостью воткнула в вену толстую иглу и, то сжимая, то отпуская камеру, низко наклонила голову, чтоб он не заметил ее смущения. Девушке Полудворянин не нравился, и это обижало его, потому что ему сейчас было хорошо, и все любили его, и только она одна не хотела его любить...

— Все,— сказала она.— Знайте, что вы оказали большую помощь пострадавшему, если... если мы сможем его спасти...

— Спасибо...— Полудворянин поднялся и тут же сел: у него стало темно перед глазами. Когда туман рассеялся, то перед собой, вместо девушки в очках и Генки Волынщикова, он увидел инспектора Козырева и даже не удивился этому.

— Значит, это ты,— сказал Козырев.

— Я,— согласился Полудворянин и, сдерживая голову, окружение, ухватился обеими руками за стол.

— Пьян,— определил Козырев, но произнес это больше с жалостью, чем с осуждением.— Эх ты, Шурка!— тихо сказал он.— Что же ты наделал, дурья твоя башка...

Полудворянин молчал. Он думал о девушке из больницы, которая не любила его, и ему уже было не так хорошо, как раньше. Ему было скверно.

— Деньги при тебе? Дай-ка их сюда...

— Иван Емельянович,— сказал Полудворянин,— я тебе чего хочешь отдам, только попроси... Мне только с одним тобой хорошо, потому что ты никогда не обманываешь...

— Я тебе попробую помочь,— сказал инспектор.— Только ты не надейся особо. Ты сам себе поставил подножку. Ты сам угробил мое доверие, но это, положим...— Козырев, не договорив, махнул рукой и вышел из столовой.

— Шурка, проснись...— тормошила его жена корейца.— Или не понимаешь ты? А ну уходи, уходи, а то ты всех нас подведешь под монастырь...

— Куда ты ведешь меня? У тебя одно на уме...— говорил Полудворянин, сопротивляясь, но она вдруг так сильно толкнула его в спину, что он вылетел из коридора и едва не растянулся на крыльце. Потом он услышал, как она задвинула дверь на засов.

Он еще долго стоял на крыльце, постепенно приходя в себя, и вдруг он понял, что произошло, но не удивился... Так бывает после того, когда тебе очень хорошо, думал он, глядя на дождь, который заливал все вокруг. Потому что, если все тебя любят, если тебе во всем везет, то когда тебе не повезет, то уж ничем не поправишь... На флотилии

ему везло, по вот ему не повезло один раз: при погрузке оборвался лебедочный трос, и патронный ящик обрушился на него сверху — и весь его гонор полетел вверх тормашками. Сегодня ему везло, а потом один раз не повезло, и теперь на этом не кончится... Козыреву тоже не повезло, и Генке, и Шубе, и кому еще... Наверное, только пострадавшему повезло. В него вольют его хорошую кровь, и ему станет хорошо...

И Полудворянину вдруг очень захотелось посмотреть, как это будет...

5

Комната, в которую он вошел, была без окон, в углу над столом горел свет. Полудворянин мельком глянул в ту сторону и замер: в углу на столе лежала Иванка... То, что она лежала, полураздетая, в этой комнате, на плоском неудобном столе, и свет лампы, усиленный отражателем, освещал ее всю, поначалу не столько испугало, сколько неприятно удивило его. Все было так нелепо и отвратительно — любой с улицы мог войти в открытую дверь и увидеть! И первым его желанием было затворить дверь, разбить лампу, вытащить Иванку из этой комнаты... Но он не сдвинулся с места. Он смотрел на нее и слышал, как льет за стеной дождь, и слышал, как капает вода с ручкомойника, и слышал какие-то шаги... И этот дождь, и звяканье ручкомойника, и стук шагов, уверенно звучащих в тишине комнаты, как-то связались у него с Иванкой на столе, и он стоял, мучительно ожидая чего-то, и не мог сдвинуться с места.

В комнате были две женщины. Одна из них, темноволосяя, с длинной худой спиной, — узкий больничный халат так обтягивал ее, что проступали позвонки, — находилась

у рукомойника и, подняв руки на уровень лица, сосредоточенно намыливала их. Другая стояла посреди комнаты и, раскрыв чемоданчик с инструментами, отыскивала в нем что-то. Это была девушка в очках, которая брала у него кровь... Она рассеянно посмотрела на него, но тотчас мускулы ее лица сделали припоминающее движение, лицо у нее искривилось, и она испуганно прижала руку к груди.

— Значит, это вы...— сказала она.— Конечно, вы... Я знала, что на это способны только такие, как вы... И вы сидели там до сих пор, и пили, а тут... Как это жестоко! — закончила она и вдруг расплакалась.

— Зачем ты ему говоришь это?— сказала худая женщина.— Он все равно не поймет ни черта.

— Я понимаю, это Иванка...

— Почему вы заставили ее пойти на это?— спросила девушка в очках.

— Я понимаю, расскажите мне...— повторял он.

— Да он же ничего не знает!— Худая женщина повернулась к нему, но обращалась она к девушке в очках.— Они всегда узнают последние...— И тут она сказала что-то на неизвестном ему языке, по-видимому что-то очень грубое, потому что девушка в очках вздрогнула, словно ее ударили по лицу.

— Елена Николаевна...— сказала она.

— Я не обязана быть вашим ангелом-хранителем!— закричала она девушке в очках.— Сами расплачивайтесь за свою любовь, а меня оставьте в покое!

— Елена Николаевна, вы же врач...— прошептала девушка.

Худая женщина нервно передернула плечами и склонилась над умывальником.

— Это я так... простите меня,— спустя минуту устало проговорила она.— А вы уходите... Вы свое сделали, не мешайте нам работать...— сказала она Полудворянину и потрясла мокрыми руками.— Унесите в палату!— Она теперь обращалась к санитарам, которые появились в комнате с носилками.

Полудворянин, не отрываясь, смотрел на нее. У женщины были тонкие нервные руки, и по прошлой ассоциации это связалось почему-то с руками корейца, сидящего на табурете у него в доме... И внезапно он понял, что происходит, и тупое отчаянье захлестнуло его...

Весь мир сегодня был против него, мир, на который он замахнулся, который уже был готов восхищенно произносить его имя... Сперва они выкачали из него кровь, так что он уже перестал соображать, что делает, а теперь выставили на посмешище и прогоняли отсюда, а девушка, которую он так любил, чтоб отомстить ему, сделала что-то гадкое себе и сейчас лежит на этом отвратительном столе — любой может войти и смотреть...

Он метнулся к санитарам — они уже брали Иванку, чтоб переложить на носилки,— и так дернул одного из них за руку, что тот вскрикнул от боли. Второй санитар тут же оставил Иванку и испуганно попятился.

— Не трогайте ее,— хрипло сказал Полудворянин,— это моя девушка...

Он увидел, что Иванка открыла глаза и смотрит на него. Лицо у него искривилось, и он улыбнулся ей. Потом он наклонился и взял ее на руки.

— Что вы собираетесь делать?— опомнилась худая женщина.— Немедленно остановитесь! Санитары, задержите его!

Остановили его не санитары, а девушка в очках.

— Простите ее!— умоляюще сказала она и показала

на женщину возле умывальника.— Она добрая, это такой хороший хирург... Ваша девушка перенесла операцию, ей необходим покой, поймите это, если вы любите ее...

— Почему вы меня не любите? — спросил он прерывающимся от волнения голосом.— Скажите, что вы меня любите, любите...

— Что вы говорите! — прошептала она с ужасом.— Зачем вы это... Как вы жестоки...— Она выбежала из комнаты...

Уже возле пристани он подумал, что лодку, наверное, конфисковали и лучше не показываться там, но у него не оставалось другой дороги.

Его лодка была вытащена из-под пирса, и ее сейчас обыскивал работник охраны, а на причале стояла машина, и возле нее были старший инспектор Козырев, Генка Волинщиков и еще несколько человек. Козырев стоял, повернувшись к нему спиной, и переговаривался с человеком в лодке, и когда Полудворянин появился на причале, обернулся и удивленно посмотрел на него. Даже тот, кто сидел в лодке, перестал рыться под брезентом.

— Вот...— нарушил молчание Генка Волинщиков.— Пришел сам, собственной персоной...

— Мы конфискуем на время лодку,— сказал Козырев.— Разберемся, что к чему, а потом будем решать...

— Мне надо сейчас на остров, отдайте ее мне,— попросил Полудворянин.

— Ты в своем уме?— Козырев постучал пальцем ему по голове.— Ты же утонешь в такую погоду!

— Мне надо...

— Да ты же не доберешься туда, упрямый ты человек!

— Отдайте лодку,— проговорил он, задыхаясь.

Старший инспектор помолчал с минуту.

— Валяй,— сказал он, не глядя на него.— Желаю удачи...

Он махнул человеку в лодке и направился к машине. Генка Волынщиков и остальные направились за ним, и Полудворянин видел, что они изо всех сил сдерживали себя.

Он спустился с причала в лодку и посторонился, пропуская работника охраны, который выходил на берег, потом взял фонарь, который перед этим вынул из кармана куртки, и тщательно осмотрел лодку — все ли на ней в порядке, а потом включил двигатель и сбросил причальный конец.

В море было светло, хотя стояла глубокая ночь. Звезды заполнили небо — казалось, на нем не было ни одного свободного кусочка, свет от них струился в темном воздухе, но на воде его не было видно, потому что вода была белая от пены, как щелок, и разрывалась пластами, и эти пласты теперь шли на него, потому что ветер был в лицо... Он увидел пласт воды, поднявшийся перед ним на такую высоту, что заслонил небо над головой, а внизу разверзлась бездна, и лодку будто всосало в нее, а потом она стала вертикально выходить на гребень волны, и он не выпускал румпальник из рук. Но тут его оглушило, ослепило, и стало нечем дышать, и он чувствовал, как дергалась под ним его лодка, румпальник вырывался из рук, а потом снова стало светло над головой и открылось море впереди, и можно было вздохнуть во всю грудь. Лодку наполнило на четверть — она глубже осела в воде, и он принялся лихорадочно вычерпывать воду; но с каждым ударом вол-

ны воды в лодке все прибывало, он не успевал теперь вычерпывать ее в паузах между ударами, и лодка оседала все ниже и ниже — она теперь плохо слушалась руля и почти не отыгрывала на волне, — и вот она уже сидела в воде по планшир. И тогда он понял, что еще один-два удара — и лодка утонет... И тут горняк выручил его: он стал заходить с борта, так что если чуток повернуть румпель, то он едва ли не приходится по корме. А ему как раз надо было повернуть, чтоб срезать угол... «Спасибо, милый, — подумал Полудворянин, — теперь, кроме тебя, мне уже некому помочь...»

Сейчас лодка просто летела вперед, и хотя поднимало и бросало ее с прежней силой, воды уже забрасывалось значительно меньше, и он быстро вычерпал остатки, выровнял лодку и снова увидел звезды. Теперь для него наступило время, чтоб подумать обо всем. Он думал об Иванке, о том, что еще недавно обнимал ее в теплой чистой комнате, а теперь она в больнице... И если у судьбы есть глаза, то она, видно, закрыла их, когда связала их вместе на том берегу... Он думал, что она зря не сказала ему о ребенке. Хорошо, если б у них родился сын, он бы сам принял у нее роды, потому что смыслил и в этом деле, он бы никому не позволил прикасаться к ней. Но она не сказала ему об этом, а решилась совсем на другое, чтоб отомстить ему, когда он отказался взять ее с собой на остров... Но как он мог взять ее с собой, если у него была лодка — та, в сарае, большая, красивая лодка, и еще этот океан, который был готов нести его вперед, и был еще этот горняк, и розовый парус, и казалось, уже ничто не могло его остановить... Нельзя разрывать себя на куски: может быть только одно. Если ты хочешь, чтоб тебя узнали на всей земле, если ты понял, что у тебя хватит для этого сил и это не будет идти поперек твоей души, потому что

ты создан только для этого, что здесь бьется твоя кровь,— значит, надо идти вперед не сворачивая, и никто не имеет права осудить тебя.

Но случилось так, что весь мир ополчился против него.

В один момент он отнял у него почти все. Но есть еще Иванка. Он привезет ее на остров — там есть чистая теплая комната, аянские ели, и солнце взойдет над ними через несколько часов, и утки полетят над потоком — отлившие жирные утки, такие тяжелые, что если подстрелишь ее в воде, то она камнем идет ко дну... И они будут спать вдвоем возле печки, и солнце будет светить на ружья, а ночью ему будет сиять ее лицо...

Он уже видел берег, темной полосой поднимавшийся слева от него, и повернул к нему лодку, а берег все поднимался перед ним, и впереди засветился огонь — это было его окно... Теперь ветер был опять в лицо, и волны обрушились на него, и он заработал черпаком. Он шел на огонь, но огонь приближался медленно, потому что началось сильное отливное течение и мешало его лодке, но огонь все приближался, и уже оставалось совсем немного, и тогда он, забыв об испорченном сцеплении, по привычке потянул шпегат от стартера, чтоб выжать всю скорость,— в двигателе раздался треск, сломалась муфта сцепления, и вал прокручивался теперь на холостом ходу... Он схватил весла, но ими было тяжело управлять такой лодкой, он греб из последних сил. Он греб и греб, но течение относило его в океан, он греб и греб, а оно становилось все сильнее и несло его назад, и несло, и огонь в его комнате опускался все ниже, ниже, вот его совсем не видно, нет, еще видно, видно...

СОДЕРЖАНИЕ

СЧАСТЛИВЧИК (<i>Рассказ матроса</i>)	5
НАШЕ МОРЕ	36
МОСКАЛЬВО	54
ОСТРОВ НЕДОРАЗУМЕНИЯ	70
ЖЕРЕБЕНОК	82
НЕКРЕЩЕННЫЙ	93
ЛОШАДИ В ПОРТУ	103
ПРИХОД	115
ОСЕНЬ НА ШАНТАРСКИХ ОСТРОВАХ . . .	134
СЫНУЛЯ	154
ТИХАЯ БУХТА	176
МЫС АННА	188
АФОНЯ	198
МЕСТНАЯ КОНТРАБАНДА	218

Казанов Борис Михайлович

ОСЕНЬ НА ШАНТАРСКИХ ОСТРОВАХ

М., «Советский писатель», 1972, 256 стр. План выпуска 1973 г. № 27. Редактор *И. Н. Жданов*. Худож. редактор *Е. И. Балашева*. Техн. редактор *А. И. Мордовина*. Корректор *Т. Н. Гуляева*. Сдано в набор 7/VI 1972 г. Подписано к печати 10/X 1972 г. А 09068. Бумага 70×108¹/₃₂ № 1. Печ. л. 8 (11,2). Уч.-изд. л. 10,56. Тираж 30 000. Заказ 207. Цена 35 коп. Издательство «Советский писатель», Москва К-9, Б. Гнезниковский пер., 10. Тульская типография Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109.